

Дебют

Как НЕ стать писателем

Георгий Панкратов — писатель, журналист, автор нескольких книг прозы и документалистики. Лауреат различных премий и конкурсов. Живет в Москве.

Повесть «Дебют: Как НЕ стать писателем» — злая и веселая исповедь молодого амбициозного автора, безуспешно пытающегося получить заслуженное, по его убеждению, место в литературном мире.

Справедливы ли претензии автора — судить читателю, но оторваться от этого нравоописательного очерка, перечня острых наблюдений за литературной ередой и обид почти невозможно.



Георгий Панкратов Дебют - Как НЕ стать писателем

Георгий Панкратов

Дебют

Как НЕ стать писателем



АСЕПИ



ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
ПРЕЗИДЕНТСКОГО ФОНДА
КУЛЬТУРНЫХ ИНИЦИАТИВ

Георгий Панкратов

Дебют

Как НЕ стать писателем

Москва
АСПИ
2022

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2=411.2)6-44
П16

Панкратов Г.

П16 Дебют: Как НЕ стать писателем / Георгий Панкратов. —
М.: АСПИ, 2022. — 202 с.

ISBN 978-5-517-09286-1

Георгий Панкратов — писатель, журналист-эссеист, автор нескольких книг прозы и документалистики. Лауреат различных премий и конкурсов. Живет в Москве.

Повесть «Дебют: Как НЕ стать писателем» — злая и веселая исповедь молодого амбициозного автора, безуспешно пытающегося получить заслуженное, по его убеждению, место в литературном мире. Справедливы ли претензии автора — судить читателю, но оторваться от этого нравоописательного очерка, перечня острых наблюдений за литературной средой и обид почти невозможно.

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2=411.2)6-44

ОТ ИЗДАТЕЛЯ

СТАРИННЫЙ ГЕРОЙ В НОВОЙ ЯРОСТИ

Георгий Панкратов написал замечательную «скандальную» повесть о том, как молодому писателю не дали премию. Не переоценивая потенциал ее скандальности, мы высоко оценили это «Нате!», и на Всероссийской литературной мастерской, проводившейся АСПИ при поддержке Президентского фонда культурных инициатив в апреле 2022 года, известные писатели рекомендовали «Дебют» к публикации.

Работа в самом деле блестящая: душераздирающие мотивы «Мартина Идена» переходят в трагифарсовую «Шапку» Войновича, фоном идут «Утраченные иллюзии» и вся линия «романов воспитания» и «романов успеха»; пылкое сочувствие читателя сменяется раздражением, потом — недоумением, негодованием, гаданием: паранойя или шизофрения? — автор, чтобы далеко не ходить, ловко отбивает приговоры и диагнозы прямо в тексте (каков голкипер!). Жесткий захват читательского внимания, хорошо сконструированный драйв, парадоксальный герой, сумма интересных противоречий и острых наблюдений — определенно, этот труд заслуживает и внимания, и почтения.

Что важно: Панкратов говорит о том, что чувствуют стартовые в литературе «социально и культурно неблизкие» — из тех, кого его герой не очень убедительно называет «обывателями», а себя полагает представляющим от них. Одаренный и амбициозный молодой литератор без социального

капитала (среды, связей, сообщества, репутации), поставивший все и вся на химеру литературного признания, — типаж старинный, позапрошлоговековой, но, оказывается, прекрасно сохранившийся. Москва, по самой природе своей — разночинная, всегда была благосклонной к таким парням; кажется, не враждебна и теперя. Но что меняется — нравы, обстоятельства, аппетиты?

Сам автор, как и его герой, уже заявил о себе в литературе: у него несколько талантливых книг, есть коллекция премий разного уровня, — но «шапка» пока что не пожалована. Что из этого следует? Возможно, ничего («шапка» ждет). Возможно, стеклянный потолок действительно снижается. Возможно, литература *все еще* вызывает ожидания, которых *уже* не может оправдать. Автор безжалостно отправляет своего героя в самые топи рессентимента — но его громокипящие рефлексии ничего не добавляют к общему представлению о том, как работают механизмы премиального процесса и какие поезда доставляют в высшую литературную лигу. Однако и позиция, и поза героя многое сообщают о новой социальной ярости, набухающей по совсем, казалось бы, неочевидным поводам, о разрушительных последствиях колоссального *труда выживания* в столице и, наконец, о действительной цене писательского дела.

АСПИ с радостью представляет эту яркую, сильную, страстную и пристрастную книгу на суд читателей. А для тех, кто только намеревается вступить в близкие отношения с литературой, — маст, как говорится, рид.

Если бы любой из нас захотел признаться, какое у него самое заветное желание, то, которое вдохновляет все его помыслы и свершения, он сказал бы: «Я хочу, чтобы меня похвалили». <...> Никто не уверен ни в том, что собой представляет, ни в том, что делает. Нас гложет беспокойство, и, чтобы преодолеть его, мы готовы принять на веру любой обман и стремимся получить одобрение откуда угодно и от кого угодно.

Сиоран

0%



Д

СВЕТЛАЯ СТОРОНА



УТРО

Тонкая дверь. Ее можно выбить ногой или просто толкнуть плечом. За дверью крохотный коридор, на одного человека. Здесь он сможет снять одежду и повесить на вешалку. И затем, освободив место другому, отправиться в крохотный туалет или на кухню, или в комнату: узкую, продолговатую, приплюснутую, словно ее стены намеренно сдвинуты, как в том эпизоде «Звездных войн», когда главных героев хотят перемолоть в мусороприемнике.

Мне двадцать восемь. Это моя первая московская квартира. Съемная, конечно. Пару часов назад, когда подъехал грузовичок с вещами возлюбленной, даже показалось, что все не влезет.

Из роскоши — поломанная раздвижная кровать, тумба на трех ножках, никудышный старый телевизор, от которого нельзя, по наказу хозяйки, избавиться и который совсем некуда деть. Одну из стен закрывает покосившаяся мебельная «стенка», сами стены тоже кажутся покосившимися, неровными, кривыми. Геометрия квартиры создает впечатление, как будто все окружающее тебя находится под каким-то углом, и только когда выходишь на кухню, ощущение пропадает: вот стул, вот стол, вот самодельная табуретка, накрытая полотенцем, вот газовая плита, вот цветы на столе. Все четко, все ровно — это слово меня сейчас радует: ведь другого, которое бы столь точно выражало все, о чем я мечтал, не находится.

Но зато это не комната, а самая настоящая, пусть и несурзкая, квартира. В нормальном районе, Останкино. И в ней даже есть балкон, на который я пытаюсь выйти, но это никак не получается, балкон занят странным предметом — древним прожавевшим двигателем. Его, конечно, можно вынести, но вспоминаю слова хозяйки: для этого потребуется восемь человек. Сколько-то лет назад именно ввосьмером его сюда и затащили. Прямо сейчас с балкона вижу водителя грузовичка, он машет рукой: поторопись, мол, а с меня сошло уже семь потов. Лифта в доме нет, а этаж третий, и половина машины еще не разгружена. Закрываю балкон: ну что ж, моя возлюбленная, как в песне, тра-та-та, везет с собой кота, а уж ему балкон наверняка придется по душе.

Что все эти мелочи значат в сравнении с тем, что она уже едет? Она в пути, в поезде. Да хоть всю ночь разгружать такие машины, чтобы под утро уснуть, зная: это последний сон в одиночестве. Завтра будет другая жизнь. Завтра вообще Новый год, а это всегда новая жизнь.

Я беспокоюсь только об одном: она еще не видела квартиру. Вдруг развернется и сразу уедет обратно?



ПОГОДА В ДОМЕ

Теперь я вспоминаю. Все то, что было когда-то. До того, как я смог стать счастливым. Вернее, не так: вспоминаю, как я *становился* счастлив. Вспоминаю годы, минуты, дни.

«Все будет просто волшебным...» — поет в наушниках группа «Смысловые галлюцинации». Угасающее прошлое сигнализирует, что я стал слушать неправильную музыку. Ну да, когда-то я был другим, но от того меня ничего не осталось: я слишком долго изживал *того себя*, чтобы прислушиваться теперь к сигналам поверженного. Я и подумать не могу, что разгромленный

противник когда-нибудь найдет силы и решится на отчаянный и сокрушительный удар.

Мне нравится солист «Галлюцинаций» — простой человек, по крайней мере, хочет таким выглядеть. Он поет о простых людях словами простых людей. Не в смысле бедных или маленьких, нет, обыкновенных. Наверное, эти самые люди тоже думают его словами. Со мной такое случилось. Я верю новой песне больше, чем себе.

Но звонит возлюбленная, и я выключаю песню, восклицаю:
— Юнна!

Такое у нее имя, переводится как «единственная». Мы еще не живем вместе, но уже знаю: это случится. С некоторых пор мы пара. Я добиваюсь ее расположения третий год; мы встречались в Петрограде, встречались в Москве, когда она была здесь по делам или проездом, мы все это время переписывались. Мы сливались друг с другом посредством слов. Кого-то в древней песне связала музыка, нас привязали друг к другу слова.

Иду, говорю с нею по телефону. Она рассказывает, как прошел день на работе, какая погода в Петрограде. Я говорю о московской погоде и о своем дне. Мы шутя вспоминаем: важнее всего погода в доме. Но у нас пока нет дома. Она снимает в Петрограде, а я здесь. Моя дорога пролегает через парк, до дома в Раменках, где я живу в комнатухе, остается совсем немного: дорога спускается, искривляясь, и затем так же резко поднимается. Фонари гаснут за спиной, когда прохожу мимо них — один, за ним другой, третий. Я вижу в этом знак, говорю Юнне. Но она смеется, говорит, это просто современные фонари. И точно, вспоминаю: это новый мэр Москвы занялся благоустройством. А еще ведь работаю в отраслевом журнале, который не раз об этом писал.

Я уже сказал хозяевам квартиры, что намереваюсь съезжать. Мне предстоит найти жилье для нас и нового квартиранта в комнату. Такой вот бесконечный круговорот в столице:

приезжают, селятся в углы, из углов съезжают в комнаты, из комнат — в квартиры, а в их освободившиеся углы и комнаты въезжают другие. Я тоже снимал углы, было всякое. Теперь у меня своеобразный дебют: вместо привычного «сдам угол» я нервно листаю страницу «квартиры». К удивлению, однушку снять сложнее, чем комнату. Здесь принцип такой: кто позвонит первым, того и хата. Можешь проехать полгорода, потратить день на дорогу, и все для того, чтобы у входа в подъезд услышать по телефону: «Все, сдали уже». Даже «извините» не говорят.

Но на этот раз мой внутренний солист «Галлюцинаций» подсказывает: все будет просто волшебным. Следуя привычке, заворачиваю в магазин, беру стейки из говядины и свинины, литровую бутылку пива, йогурты, картофель. Тем временем совсем темнеет, и я возвращаюсь неспешным шагом, наслаждаясь остывающей Москвой.



СОЛНЦЕ ИГРАЕТ С ОГНЕМ

Мне нравятся поезда, которые приезжают утром. Шесть утра, и я открываю глаза в Петрограде. Открывается метро, и ты спокойно едешь на раннем поезде, а метро здесь медленное, спокойное. Не давая глазам закрыться, осматриваешь знакомые станции. Петроград не вызывает во мне эмоций, я не чувствую его. Поэтому, наверное, полжизни, а то и больше прожил в других городах. Выхожу на «Площади Мужества» и сразу отправляюсь есть шаверму. Подкрепившись, отправлюсь к Юнне, она живет здесь недалеко.

Я первый посетитель. Мне наливают чай, и я долго сижу у окна. Юнна сладко спит, повернувшись носом к шкафу; у нее странный шкаф стоит посреди комнаты, и кровать прислонена к нему. Пожелал ей вчера сладких снов, я их всегда желаю. Она любит бабочек и летает во сне, будто бабочка. А я люблю ее.

Об этом так приятно думать, прихлебывая утренний чай. За окном ползут сонные трамваи, красно-белые, как «Спартак».

В соседних «Цветках» покупаю цветы и вазу, тоже с бабочками, Юнне должна понравиться. Букет длинный и узкий, с сиреневыми цветами; выясняю, что это за цветы, но сразу же забываю. Иду мимо старого кинотеатра, пятиэтажных домов, вдыхаю утренний воздух. Вспоминаю, как однажды, пару лет назад, шел здесь же, провожая ее домой, но не один, а в компании пьяного грузчика из магазина, в котором мы и познакомились. Там было много нормальных парней, но тот тип мне не нравился, он был агрессивен и глуп. Юнна позвала его, стесняясь остаться со мной вдвоем, впрочем, потом он исчез. Мы шли, и я смеялся, рассказывая что-то Юнне, и тут он прервал меня:

— А почему ты Юнну называешь на «вы»?

Я не сразу понял вопрос. Называть ее на «вы» было естественно, и я даже не замечал это сам.

— Мне так нравится, — бросил короткий ответ.

Она была моей начальницей на той, забытой, временной работе. Потому и называл ее на «вы», к тому же она старше — подумать только, на целых десять лет! Я выдавал косметику в отделе небольшого сетевого магазинчика, а она была в нем управляющей.

«Космос глубокий, я одинокий», — завыл в плеейере поп-исполнитель, и я немедленно нажал на стоп. Сегодня для меня будет играть другая музыка. Даже не для меня — для нас.

Она встречает меня возле двери, где после той встречи, два года назад, сказала: «Мы никогда не увидимся». *Никогда* прошло, и теперь мы любим друг друга. Мы встречаем холодное петроградское утро, и суровый кот, не узнавший меня, вновь приступает к осторожному знакомству. Нам предстоит еще долго жить вместе, кот, хорошо бы нам подружиться.

Вечером пьем вино, строим планы. Она переведется в московский офис, соберет вещи, сдаст ключи, наверное, к Новому

году, а я и рад: до него не так далеко. Рассказываю о себе: совсем недавно мысли о будущем вселяли тревогу, я месяц не мог найти работу, шатаюсь по Москве, и уже не знал, как рассчитаюсь с хозяйкой, как вдруг меня пригласили в крупное информационное агентство. Работать в организации с мировым именем — мог ли я мечтать о таком, стоя у прилавка и сверяя артикул с накладной?

Мог, конечно. Примерно об этом я и мечтал.

— Поздравляю, — улыбалась Юнна. Мы наслаждались звонком бокалов из богемского стекла, играла песня:

Солнце играет с огнем, мы играем с ветром.
Нам так светло. Мы вдвоем вместе станем пеплом.
И когда солнце зашло, как же ты просила
взять за собою тебя на вершину мира.

На ее холодильнике много магнитов. Когда мы начнем жить вместе, все переедут к нам. Появятся новые, жизнь впереди большая. А пока я достаю из сумки маленького синего дельфина и цепляю на дверцу, рядом с точно таким же. Юнна поправляет: теперь дельфинчики соприкасаются носами, будто целуются, окруженные россыпью крошечных магнитов-дельфинят. Уезжая в Москву, я взял одного дельфина и хранил его как драгоценный подарок. Он всегда был со мной — символ мечты о Юнне. Мечта исполнилась, дельфины воссоединились.



ВАШ ЗВОНОК ОЧЕНЬ ВАЖЕН

Я стою на горке у метро ВСХВ. Рядом красивый храм, мимо него хожу по утрам на работу. Но уже через несколько дней я уеду: новая зарплата позволит снять комнатку недалеко

от офиса. А пока наслаждаюсь последними днями в лучшем районе Москвы.

Но сейчас я в смятении. Телефон Юнны выключен, а ведь мы договорились встретиться через час, и мне срочно нужно сообщить ей, куда ехать: на «Спортивную», где ждет сюрприз. Я никогда не летал самолетами, и сама мысль, что она где-то в небе, когда я здесь, на земле, тревожит. С тех пор, как она написала из Турции, что направляется в аэропорт, не нахожу себе места. Вроде рейс должен был прибыть, а она все вне зоны доступа.

Отправляюсь на «Спортивную», решив, что больше ждать нельзя. Именно там должно начаться наше путешествие. Юнна долго думала, приезжать ей или нет, встречаться ли со мной, мы перебрасывались сообщениями раз в два или три дня с момента последней встречи, я убеждал ее, увлекал. Для себя я давно знал, что Юнна будет моей, но если сегодня не встретимся, сроки сильно сместятся.

Пишу СМС. «Перезвоните. Ваш звонок очень важен». Она звонит, едва я захожу в вагон.

Перекрикивая монотонный шум, объясняю, где мы встретимся. Юнна ближе к «Спортивной», она будет ждать меня там.

Возле метро достаю 0,2 красного, выпиваю, морщусь, кидаю бутылку в урну. С каждым шагом напряжение растет, но теперь, залитое вином, оно не столь навязчиво. Концентрируюсь на положительных эмоциях, предвкушении встречи, извлекаю две мятные жвачки и старательно жую.

Юнна рада увидеться. Она и сама, к моей радости, пропустила бокал вина. Заказываю еще по одному, а вот с едой что-то не складывается: обслуживают банкет. На банкете нет трезвых лиц, я предлагаю Юнне поспешить.

Тащу за собой ее чемодан. Юнна рассказывает про Турцию, Петроград, про магазин, в котором я когда-то выдавал витамины. Мне это нравится: не нужно говорить самому, я не люблю говорить много, а главное уже давно сказано.



ВСЯ МОСКВА БЛЕСТИТ

Юнна любит воду и любит приезжать в столицу. Мы прокатились по холодной Москве-реке или, как говорят здесь, Москва-реке, сидели в уютном зале теплохода и пили вино, выходили на воздух, оставаясь вдвоем на корме счастливого судна, смотрели красоты Москвы. И все за крохотную по московским меркам сумму. И все же на встречу мне пришлось долго копить.

Разговоры удивительно просты и убедительно серьезны. От легких вроде снов и фильмов мы переходили к главным: кем были родители, как они нас воспитывали, какие предпочтения в еде и развлечениях — все в ненавязчивой, шутливой форме, но информативно.

— Мы, оказывается, во многом совпадаем.

Словно детали конструктора, мы сопоставляли форму друг друга, стараясь понять, надежным ли будет скрепление, прочным ли. Шутки, полунамеки, игры взглядов и слов, беседы о судьбах мира не дали бы такого понимания. Мы проплывали Московский Кремль, и Юнна захотела сделать фото. К тому моменту я все понимал. И был не счастлив, но доволен. Удовлетворен. Я прежде не испытывал такого чувства, в ту пору, когда писал стихи, полные нежной влюбленности и романтического отчаяния, а ведь это было всего несколько лет назад. Тогда я был несчастен. Что изменилось? Ведь, в сущности, просто прошло время. Я стал взрослее. Теперь самым глупым порывом на палубе теплохода могло быть чтение вслух стихов. Писать стихи, мыслить стихами — было первой привычкой прошлого, которую я изжил. Больно не было. Может быть, неприятно.

Зато теперь, исполненный внутреннего довольства, я выхожу из такси с красивой достойной женщиной, забираю багаж, прощаюсь с водителем и гляжу в небо, в котором мерцают звезды — подсветка гостиницы «Космос». И случись мысль, что

вместо всего этого я писал бы стихи в темной комнате, меня бы только передернуло. От ужаса и брезгливости.

Я беру ее за руку и веду к сияющему входу, словно к новой жизни, сказке и мечте. Но отдаю себе отчет, что это всего лишь ощущение, сладкое, но проходящее. Впереди еще много работы под названием «жизнь».

В номере ждет скромный сюрприз: полосатый кот из модного интернет-магазина. Он серый, с длинным хвостом, совсем как кот Юнны. Это намек на ее кота: мне хочется, чтобы кот стал наш. Да и вообще все стало наше, как великолепная Москва за высоким обзорным окном.

Юнна прыгает от счастья, замороженная видом, смеется, поет:

Вся Москва блестит, вся Москва горит,
вся Москва сия-ет между на-а-ми.
Я не знаю тех, кто бы не зажегся ей в ответ!

Она хохочет, кидается в меня подушками, я тоже не сдерживаю радости, что-то шепчу, обнимаю, и в этот момент она замечает букет. Цветы вроде и стоят на видном месте, но, паря в своих счастливых облаках, Юнна не сразу увидела их.

— Гошка, спасибо! Я счастлива! — шепчет Юнна, вдохнув запах цветов.

Букет всего в двух цветах — зеленом и белом. Но не маленький, пышный. «Ищу такой, знаете, — подбираю слова в магазине. — Чтобы сама нежность...»

— Сама нежность! — восклицает Юнна. На ней серая футболка со смайликом. Смайллик — это буква О в гигантском слове LOVE.

— Ваше счастье — мое счастье, — проговариваюсь я.

В момент наивысшего счастья человек становится точкой. И эта точка рождает новые вселенные. А «Космос» становится точкой для нас, из него на наших глазах, при нашем участии,

при нашем восхищенном попустительстве рождается вселенная новой жизни. Которую творят двое, решившие быть вместе.

Мы не говорим об этом, все больше молчим. Иногда пьем вино, выглядываем в Москву. На виадукке в сторону Ярославки стоят автомобили.

— Здесь в два часа ночи пробка, — удивляется Юнна.

Моя Москва всегда была такой, какой я вижу ее из окна «Космоса». Она прекрасна. В тишине гостиничного номера звучат слова:

— Ты действительно уверен, что нам стоит это делать?

Я уже открываю рот и готовлюсь выдохнуть ответ.



ЖИТЬ И РАБОТАТЬ. ПЕРВЫЙ РАЗГОВОР С МОСКВОЙ

В трудные минуты я обращаюсь к Москве. Хотя нет. Пожалуй, это не так. Сейчас у меня все минуты трудные. К Москве же обращаюсь как раз в легкие, праздные минуты. Иногда гуляю просто так, ведь здесь у меня никого нет. Но это не пугает, главное, чтобы был кто-то в сердце. А где поселился сам я, об этом лучше не знать.

— Правильно, жить надо в Москве, — сказал мой первый главный редактор, когда я признался, что прихожу домой только спать.

В столице мне нравится все. Воздух после дождя, широкие улицы, ощущение простора, остывающий вечером асфальт. И даже московское метро не вызывает во мне раздражения, не оттого ли, что я им редко пользуюсь? А парки, скверы, выставка! Мне кажется, они здесь лучшие в мире. В Москве я почувствовал радость и осмысленность жизни. Я никогда не собирался покорять ее, а только выражал восторг. Но все-таки помнил, что приехал не просто так. У меня есть желание — работать

журналистом. В Петрограде я не нашел развития. Разве что продолжать работать у Юнны в магазине и совмещать все это с редкими статейками. Поэтому я здесь. В жизни нельзя делать выбор: любовь, например, или работа, одна или другая мечта. В жизни должны быть и любовь, и работа, и все мечты должны исполняться, только тогда можно и самому стать счастливым, и поделиться счастьем.

Помню, перед отъездом я пил пиво с другом в Петрограде, и говорил, что ни черта не понимая в журналистике, собираюсь пробиться в эту профессию.

— Это, в общем, не цель, — объяснял я больше себе, чем другу. — Просто я же всегда хотел стать писателем.

Друг кивал, он помнил, как несколько лет подряд я проедал ему плешь ненаписанным романом.

— А это оказалось очень страшно, — добавлял я.

— Какая разница, писатель, журналист? — спрашивал сонный друг.

— Как какая? — изумлялся я. — Писатель — это вечно сияющий свет. А журналист обыкновенный мотылек. У меня должно получиться. Не получилось светом — попробую мотыльком.

Вместе с другом мы убили большую часть молодости на складах: мерчандайзерами, охранниками, консультантами, ком-плектовщиками. Долгое время я верил, что других работ в принципе нет. И только потом понял, что же гнало меня на них: это была мечта о писательстве. Кем еще устроиться в мире, имея такую мечту? Она приносила нервозность и убивала год за годом молодость. Но мечта не должна быть такой, убеждал я себя. И наконец убедил.

По дороге в «Вавилон», огромный гипермаркет на северо-востоке, — цветочная клумба в виде гигантского слова «Москва». Останавливаюсь.

— Я ничего не прошу, Москва, — говорю тихо. — Я приехал, чтобы жить и работать здесь. Просто работать и жить.



БЫТЬ ОБЫКНОВЕННЫМ

Приехав в Москву, я стал посещать храм — подворье Троице-Сергиевой Лавры на Олимпийском проспекте. Провожу много времени у иконы Сергия Радонежского. Церковь учит, что лучше приходить в храм не в минуты слабости и отчаяния, не в плохом настроении, ведь посещение этого места — праздник, в том числе и единения людей. Но для меня сложно быть здесь, когда вокруг много народа. Я прихожу к Богу, а не к людям. Выразить почтение за жизнь, которая есть свет, за то, что он не оставляет меня. Но есть и то, что сильно меня тревожит.

Жизнь кажется четким планом, который нужно просто выполнить, прожить. Она сияет ослепительной ясностью, рекламным слоганом: просто сделай. И с этими словами приходит успокоение: следование плану даст мне все: и развитие, и, в итоге, счастье. Но так было не всегда. Я помню время, когда никакого плана не было и каждый шаг на перекрестке давался с трудом, потому что был одинаково бессмысленным, в какую бы сторону ни пошел. В кармане лежал блокнот, куда я записывал рифмованные строчки, а голова набухала идеями для будущего романа, который поразил бы мир. Но к вечеру все утопает в литрах и десятках литров паршивого бухла. Те стихи давно на помойке, а новые не подступают, святые слышат мои молитвы: больше никаких стихов.

— Просто помоги мне быть обычным человеком. Самым-самым обыкновенным на свете. Не дай мне сойти с этого пути, поддержи меня. А все остальное сам, — говорю Сергию.

Крещусь, отхожу от иконы, иду к Богородице.

— Я действительно люблю эту женщину, — объясняю тихо. — Хочу о ней заботиться, сделать ее счастливой.

Зачем я это говорю? Потому что Богородица — это новая жизнь. И рождение новой семьи — рождение новой жизни. Я ничего не хочу на свете сильнее семьи.

Неподалеку от храма офис петроградского банка, которому я отдаю кредит. Выходит, Петроград благословил меня на то, чтобы я уехал, и терпеливо продолжает помогать мне даже здесь, думаю с усмешкой. Но ничего, скоро отдам все долги, и можно будет забыть об этом.

Под вечер приеду на ВСХВ. Я часто работаю здесь, возле пруда, к которому спускаются несколько старых ступенек, закрытых почему-то за оградой. Открываю ноутбук и сочиняю дурацкие объявления; я подрабатываю копирайтером, как Гордон Комсток у Оруэлла. Перед началом работы вхожу в социальную сеть: раз в несколько дней приходит короткий ответ от Юнны, а поймать ее онлайн и вовсе невозможно. Она неуловима! Я закрываю глаза и вспоминаю, как мы обедали в столовой на работе.

— Приятного аппетита, — говорил я Юнне. Она всегда отвечала:

— Спасибо, и тебе.

Почему все самое важное в жизни, самое ценное в ней так отчаянно сентиментально? Здесь, не в Москве даже, а в московском интернете, люди противопоставляют ум сердцу. Меня радовало в Юнне то, что она не знакома с интернет-мемами, пабликами, блогами, искусственной повесткой тех же СМИ, в которую я сам все больше погружался. Последнее, чего я хотел от жизни, — чтобы моя избранница писала «красавчег», «превед», «журнолизд», демонстрируя духовное богатство внутреннего мира, чтобы говорила: «я про что-то» или «от слова совсем». Она, слава богу, не станет такой. И когда приедет в следующий раз в столицу, мы встретимся в обычном симпатичном ресторане, а не каком-нибудь антикафе.

↑
ЧЕРТАНОВО

Моим дебютным жилищем в столице стала квартира музыканта группы «Мыльница» Тщеславского. Он позвонил сам, когда я курил на балконе в Петрограде, собираясь в дорогу; в ту же ночь у меня был поезд, а понимания, где жить в столице, так и не появилось. Музыкант в социальных сетях обнаружил мое объявление и предложил за скромную сумму поселиться у него.

— У вас двухкомнатная?

Оказалось, нет: однушка. Но за совсем небольшие деньги музыкант готов был предоставить надувной матрас. Я польстился, но уточнил, почему человек так решительно предлагает у него поселиться, даже не зная, кто я вообще такой.

— Уж не гей ли? — предположил я, но задать вопрос постеснялся. Вместо этого стал объяснять, что не фанат группы «Мыльница» и вообще не слышал их песен. Но назавтра я уже был у него. Стыдно было признаться, что я работаю грузчиком, и каждое утро, когда он выезжал на концерт в какой-нибудь «Крокус», я отправлялся с двумя пересадками на холодный вонючий склад, собирал и тащил по улице мусор, комплектовал заказы, принимал и разгружал поставки.

Но и жизнь музыканта нельзя было назвать сказкой. Квартира в Борисово, одинокая жизнь, нехватка денег. Тщеславский подрабатывал учителем на другом конце Москвы и часто приходил домой позже меня. Когда он назвал сумму, которую получали музыканты «Мыльницы», кроме солистки, за выступление, я испытал шок.

Тщеславский был увлечен сольным проектом, он играл на необычном, как ему казалось, инструменте — терменвоксе. Он отчего-то верил, что я смогу помочь ему пробиться — организовать выступления, создать сайт, распространить информацию, и даже вопросы шоу-программы, кроме музыки,

включая костюм и общение с залом, были доверены мне. Но мои мысли были заняты другим. Одна работа, поиск другой работы, теплые, но дружеские сообщения от Юнны. Несколько дней назад я признался в любви, теперь она знала все, и это казалось чудом. Засыпая в темном углу одинокой квартиры Тщеславского, я представлял Юннину улыбку.

В том, что я бесполезен как бизнес-партнер, Тщеславский убедился быстро. Однажды, разгружая очередной поддон, я получил от него СМС с предложением искать жилье. Поэтому теперь я здесь.

О моей нынешней ситуации можно сказать коротко: Чертаново. У меня есть комната, правда, она не закрывается, но она на втором этаже, и, если что, можно спрыгнуть; вот, собственно, и все, что нужно о ней знать. В первую ночь я подпер дверь тяжелым пуфом, и перед тем, как уснуть, написал всем знакомым адрес.

А в следующую ночь хозяину квартиры Васе на кухне разбили голову утюгом. Сделал это Андрюха, брат. Василия долго уговаривали устроиться на работу, и вот он наконец отправился на свою первую смену, но до работы не дошел. Оба брата сидели, и работать им считалось западло. Но мать, в минуты трезвости любившая рассказывать, как их семья раньше шикарно жила в центре, орала на них, что нет денег. Сыновья пропивают и просаживают на героин всю сумму, которую я им плачу, потом стреляют у меня же сигареты, сидят на кухне, скучают, дерутся. Вася — человек без фантазии, коммуницирует мычанием. Андрей одержим идеей вырваться из такой жизни, но она остается словами.

— Вася, он сдался давно, за что его уважать! — говорит Андрюха.

Объясняю, что это он сам ежедневно сдается, хотя бодрится и хорохорится. Но Андрей только машет рукой. Мать, напиваясь, орет ночами, нечленораздельно, дико, жутко, словно откуда-то

из недр земли вырывается на свет божий концентрированное страдание ада. Будто сама земля воет, и в этом вое столько неизбывной тоски, что кажется: хуже, чем ей, на всем белом свете лишь нескольким людям — соседям снизу, сверху и сбоку.

Юнна простудилась, и я пишу ей под этот вой, с каким удовольствием стоял бы рядом у окошка, глядя на осенний двор и попивая чай. Мы стояли бы и считали листья. Ей нравится эта идея. О том, что происходит вокруг меня, я молчу. Приглашать ее в Москву пока рано, впереди еще много шагов.

С тех пор как приехал в столицу, я бросил пить. Но вот Андрюха зовет, он под героином, у него еще есть водка. Объясняю, что нельзя: желудок. Андрюха косится с недоверием, но отстает. Рассказывает, как поднимал бунт на зоне. По этому сюжету можно снять новый «Побег». Или написать книгу. Вот не пообещай себе когда-то: все, больше никаких писательств! Мне тоже есть что рассказать; истории, конечно, послабее, но и я ведь побывал на дне.

— А ты молодец, что уехал! На хрена тебе это все нужно, — привычно ворчит Андрей в ответ на мои вялые рассказы. — Все у тебя будет нормально. Ты же вроде нормальный парень, смотрю на тебя.

— Да ты вроде тоже.

Курим.



ХРЕНОВО И ДОЛГО, НО НАДО ТЕРПЕТЬ

Сегодня меня не взяли в «Большой лев». Это крупная компания, занимается скидочными купонами. Когда оказался в их офисе, у меня перехватило дух: огромное помещение, похожее скорее на ангар или завод, с высокими потолками. Бесконечно длинное, я бы сказал, бескрайнее. Оно было уставлено столами, за каждым сидел человек и непрерывно штамповал

эти купоны. Количество рядов не поддавалось счету. Все это напомнило картины из жизни старых британских клерков, копающихся в своих бумагах и печатных машинках.

Платили здесь вдвое больше, чем там, где я работал грузчиком; это мог быть нормальный старт. Но что важнее всего, здесь можно было писать. Хоть скидки, хоть купоны, но *писать*. Я не презирал физический труд, но ведь когда-то пора с ним кончать. Последние три месяца я, как голодный пес, оббегал столько офисов, что открыл для себя полкарты Москвы и уже представлял примерно, что находится возле любого метро. Меня никуда не брали — то предлагали осточертевший фриланс, то ссылались на нехватку опыта, то спрашивали: «Ты за Путина или нет?» Мне не хотелось говорить о политике, я приехал писать о хороших людях, классной музыке, интересных событиях. Но жизнь всегда распоряжается иначе.

Вот уже несколько недель я готовлю такие же купоны, только дома, по вечерам и ночам. Мне стыдно признаваться парням со склада, что я пишу о ботоксе, детоксе, гликолиевом пилинге и меховых выставках в пригороде Парижа. Но главное, что, занимаясь этой чушью, я получаю те же деньги, что они. А ведь многие кормят семьи, детей, обустривают жилища, содержат машины, дачи. Правда, и мне эти пилинги не даются слишком легко: пять часов на энергетиках после шестнадцатичасовой смены. Да еще и в моей нехорошей квартире: то Андрюха решит лупануть по уличному фонарю из пистолета, то в гости зайдет огромный и мрачный Каркас — авторитет, который проплатил инсценировку своего убийства и несколько сюжетов по тиви, а теперь вот сидит и глушит с парнями водку.

Устроившись в «Большой лев», я мог бы послать склад к черту и продолжать заваливать письмами приличные редакции, сидя в этом гигантском пугающем пространстве. Это был бы мой офисный дебют, волнующий, даже малость страшный. Но я не сомневался, что преодолею и эти купоны, и этот офис,

и эти лица — как преодолеваю каждый день все остальное. И я не сомневался, что меня возьмут. Кому же здесь работать, как не мне!

Но вот не взяли. Я иду в сторону Янгеля, хотя никогда там не был, просто куда глядят глаза. Вспоминаю лицо Юнны, рассказывающей смешную шутку, и на секунду становится светлее, но затем это лицо отплывает, сменяется картинками привычной жизни, из которой впервые за несколько месяцев кажется, что нет выхода. К горлу подступает отчаяние.

Нет, мне никогда не казалось, что в Москве легко, но меня реально никто не хотел здесь видеть. Я каждый вечер садился за стол и писал об очередной меховой выставке, о новой депиляции, о вечеринках в клубах, где я никогда не побываю, о модных играх в мафию. В двери квартиры снова звонили. Приходила африканка лет под тридцать, дитя московской Олимпиады, братья называли ее негритоска, на ходу рифмуя с другим, обидным словом. Она страшно пила водку.

— Ты хочешь со мной переспать? — говорила она мне. Все-ррез ли, шутя, пытаюсь поднять себе цену тем, что хотя бы кому-то может еще отказать?

Я докуривал и уходил в комнату. Думал о Юнне. Думал о том, как найти работу. В подмышках вскочили огромные фурункулы. Парни предлагали вырезать и даже достали нож. Долго смеялись.

— Купи какую-то мазь, — сказал Андрюха, название я не запомнил. — Лечиться придется хреново и долго, но надо терпеть.

Парень, который поднимал на бунт колонию, теперь выдавливал мне отвратительные гнойники и заливал зелье в раны; он знал неведомый мне рецепт. Несколько дней я валялся с температурой, не мог пошевелить руками и просто ни хрена не понимал. Слышал, как выла их мать, как били головой о стену Васю, как гремели бутылки. Андрюха пил все меньше, но только потому, что заторчал. Он всякий раз отрицал, что

«поставленный», и злился от того, что я все понимал. То, что мне удалось подняться с кровати, дойти до офиса гребаного «Большого льва» и обратно, — заслуга этого парня. Спасибо тебе, если что. Я помню.

↑
КОСМОС

Когда меня взяли в маленькую редакцию специализированного ведомственного журнала, я был счастлив. Мой редакторский дебют состоялся в просторном кабинете с видом на гостиницу «Космос». Говоря о достоинствах работы, главред с этого начинал:

— Из окна — гостиница «Космос».

Я сижу здесь допоздна, практически живу в редакции, потому что идти куда не хочется. Когда за окном почти полночь и вот-вот по кабинетам пойдут дежурные, проверяя, все ли ушли, я смотрю на сияющий «Космос» и думаю, что когда-нибудь взгляну на это окошко из высокого окна гостиницы. И сделаю это с совсем другим чувством: не пылающей в сердце надежды, а сбывшейся мечты. Словно звезды, приземлившейся мне на ладонь. Приладонившейся звезды.

Но это не все плюсы новой работы. Я не просто журналист, репортер, корреспондент или вонючий копирайтер. Я редактор, самый настоящий, с соответствующей записью в трудовой. О таком я, в общем, даже не мечтал, по крайней мере, после неудачи с «Большим львом». Как видно, за каждым дождем приходит солнце, за каждым отчаянием следует маленькая победа. У меня журнал, за который я отвечаю. Бегаю по ведомственным корпусам, разговариваю с людьми, беру интервью, пишу заметки и репортажи, работаю с авторами. Все это веселит, бодрит, заводит, я представляю, что это все понарошку, все это маленькая модель будущей работы, на которой все станет

настоящим: и интервью, и репортажи, и журналы. Я словно из точки, которой был прежде, растекся в прямую линию, и в процессе работы — ведь я же ни черта не смыслю в редактировании! — разрастаюсь в плоскость. Которая в свете звездного «Космоса» обретает объем и силу, и впереди только полная свобода, абсолютное творчество, рождение новых профессиональных вселенных. Но, возвращаясь в редакцию, вспоминаю: реальность — это там, где ты сейчас.

— Я просто учусь, — убеждаю себя. — В том возрасте, когда всем этим нужно было заниматься, я задыхался от дыма в ссаных подъездах, читая дрянные стихи. Теперь я в пиджачке и с часиками, вот я какой теперь.

Моя зарплата равна прожиточному минимуму. Лишь благодаря надежной ботоксной и пилинговой подработке, оплата за которую раз в восемь превышает ставку в журнале, я снял новую комнату недалеко от станции Яуза. Перед тем как свалить с прежней квартиры, я все-таки выпил с парнями, и они даже не спросили, что с желудком. Развязался, ну и ладно. Я понимал, что дальнейшей судьбы их, скорее всего, не узнаю.

— Даст бог, свидимся, — сказал Андрюха, захлопывая дверь. Пока бог не дал. Не свиделись.



ЗА СВЯТОГО ГЕОРГИЯ

У меня на стене — карта мира. Сфоткался на фоне Африки, поставил аватар. Первое в жизни селфи.

За окном сугробы. Заметенная детская площадка — на ней никто не гуляет, потому что и детей здесь нет. Две пятиэтажки, глядящие друг на друга, и двор, похожий на их скупое рукопожатие или холодный поцелуй. Вокруг лес, в нем бродят собачьи стаи. До железнодорожной станции или автобусной остановки идти минут пятнадцать. Путь неблизкий и неосвещенный:

мимо туберкулезного диспансера, а после по сквозной дороге через лес. Я хожу этой дорогой каждый день, включив на плечере Камбурову. Так тихо, чтобы сквозь звуки леса лишь слегка проникало далекое пение, точно утреннее солнце проступало из-за тяжелых ветвей.

Снимаю комнату у интеллигентов. Жена редактор в отраслевом журнале, ей тридцать пять, но выглядит плохо: недосыпает и много работает, под глазами круги. Муж музыкант, пьет либо с утра до вечера, либо с вечера до утра, подворовывает деньги у жены. Стучит на барабанах в группах, о которых я в жизни не слышал. Перед сном он рвется в мою комнату, то предлагая, то умоляя послушать Slayer. Когда это становится невыносимо, иду на кухню. Прежде чем хлопнуть стопку, слушаю гост.

— За святого Георгия, — шатаясь, произносит барабанщик и улыбается широко. Он похож на таракана. Когда я с ним пью, вспоминаю парней из Чертаново и думаю, что мне их не хватает.

— Святой Георгий — это лучший святой, — орет барабанщик, вколачивая в себя, как гвоздь, очередную порцию водки, и стучит жене в комнату: — Выходи! Вы-хо-ди, с-с-сука!

На часах два ночи, и она огромной тенью скользит по коридору, успокаивает его, обнимает.

— Все друзья говорят мне: бросай его, спасай свою жизнь, — объясняет она однажды.

— Как мне просить прощения у жены? — в другой раз плачет пьяный барабанщик. — Так виноват перед ней. Дура! — он срывается на отчаянный крик. — Всю жизнь мне портишь, дура!

Здесь я чувствую себя чужим. Мне нечего ответить этим людям. Их жизнь меня не трогает, не заставляет думать, не вдохновляет. Я знаю одно, что мне нужно сейчас знать: надо много работать. Очень много работать. Разве я приезжал в Москву, чтобы слушать на кухнях Slayer?



ПОЧЕМУ ОНИ НЕ УЛЕТАЮТ?

Прошло время, теперь я живу в общаге пожарной академии. Рассказывать нечего. Кроме того, что я здесь незаконно. Потому что больше не работаю в ведомственной редакции и не вижу гостиницу «Космос» из маленького окна. Меня переманило коммерческое издательство на выставке, и теперь я вкальваю сутками за тридцать пять тысяч рублей, к полночи возвращаясь сюда. Каждый день я думаю, пугаясь: могут и не пустить. Но обходится. Появятся деньги, перееду ближе к работе, на Юго-Запад. Жить и работать в Москве нужно рядом, иначе жизнь станет совсем не в радость.

Теперь и думать некогда, разве что во время бизнес-ланча, но и туда я хожу не один, а вместе с коллегой, заместителем главного. Даже это время забивается пустыми разговорами о работе, ведь больше нам говорить не о чем. Я езжу в министерства, Государственную Думу, московские театры и музеи, посещаю конференции, налаживаю связи: отсюда, как кажется, я еще ближе к большим и известным СМИ. Вспоминаю о Юнне лишь перед сном или в вечернем метро, в редкое время, когда предоставлен себе.

Наша встреча состоялась неожиданно. Юнна приехала по делу, на какой-то семинар, и вот вчера у метро «Маяковская» впервые поцеловал ее в щеку. Я позволил себе эту вольность, потому что пришпорился маленькой бутылкой красного. Как оказалось, и Юнна выпила виски у сестры.

Мы пришли на Патриаршие, в ресторан у воды «Павильон».

«Ты что, продал почку?» — спрашивала коллега Катя, узнав о моем будущем свидании. Шутки шутками, но после этой встречи я не знаю, чем буду питаться в ближайшие пятнадцать дней.

— Как дела? — спрашиваю Юнну. Она смотрит на лебедей, на окружающие пруд дома.

— Да какие у меня могут быть дела? Дом и работа, работа и дом. Ты же знаешь.

Нам приносят вино в ведерке со льдом, сырную тарелку и клубнику.

— Здесь хорошо, — говорит Юнна. — Здесь все как я люблю: вода, спокойствие, лебеди. Почему они не улетают?

— У них же подрезаны крылья, — удивляюсь я.

— Но, наверное, им здесь нравится?

Это про всех нас, приезжих, думаю. Юнна пытается покормить лебедя, бросив кусок хлеба, но птица демонстрирует сытое достоинство.

— Странно, — говорит она, — мне с тобой спокойно и хорошо. Я давно забыла, какие это чувства.

«Спокойно и хорошо», — эти слова переливаются в моей голове, и я наслаждаюсь их звучанием и смыслом. Когда-то, отчаянно пытаюсь нравиться, я посвящал девушкам стихи, пересказывал книги, показывал редкие фильмы. Сыпал познаниями в странной музыке, интересной только людям, исключенным из движений жизни и поселившимся в собственной голове. И сам я, что говорить, жил там же, мне было плохо и беспокойно, я ездил по городам в поисках приюта и применения себя. А счастье — вот оно, в сказанных под темным небом, у квадрата воды в центре города: «Спокойно и хорошо». Сказанных женщиной, которую выбрал для жизни. Не музы, не дамы сердца, не барышни, нет — женщины. Протягиваю руку:

— Нас ждет такси.

Возле станции метро «Тульская» у Юнны живет сестра. Мы появляемся там после полуночи, и возле подземного перехода, где только что остановилось такси, тормозит иномарка, распахиваются двери, но люди не спешат выходить. Слышатся крики, мат, и, наконец, видимо, вырвавшись из цепких, пытающихся удержать ее в машине рук, на улицу выбегает девушка. За нею разгоряченный мужчина, они стоят возле открытых дверей

и мигающих фар, что-то орут друг другу, перекрикивая злобные слова другими злобными, слыша только себя.

Юнна грустнеет:

— Вот за это я не люблю Москву.

Беру ее за руку, и мы направляемся к арке огромного дома.

— Москва, она у каждого своя. Поэтому мне она нравится.

— Да? — веселеет Юнна. — И какая же у тебя?

Мы скрываемся в арке.

Во дворике дома сестры мы просидим до трех часов ночи.

— Мне очень хорошо с тобой, — скажет Юнна. — Но нам лучше просто общаться.

— Пойте, Юннушка, — улыбаюсь. — У вас великолепный голос.

Если кукла выйдет плохо,
Назову ее Дуреха,
Если клоун выйдет плохо,
Назову его Дурак.

— Мы пели в общаге, — поясняет уставшая Юнна и дарит мне последнюю счастливую улыбку. Пора в общагу и мне.

↑
ХОЛОДНЫЙ ВОЗДУХ

Вчера мы сидели в блинной с коллегой Катей после интервью. Говорили с безопасником главной столичной библиотеки. Человек отвечал с интересом, пока Катя не начала его допрашивать: а какие производители у каждого прибора? В этом и есть задача журнала — давать рекламу, но смотрю — человек расстроился: говорят не о нем, пришли, чтобы выяснить фирмы. И как-то сразу сник, свернул разговор. Катя этого не замечает, а я вижу.

Она молодая карьеристка, приехала из Сибири, инженеры ей не интересны. За блинами она признается, что хочет работать в ООН. Но пока туда не позвали, и вот уже пять лет Катя трудится в нашем журнале. В разговоре со мной она то и дело повторяет точно мантру: *маркетинговый план*. Содержание журнала ей не важно, как и остальным моим коллегам, и, в общем, оно правильно: без рекламы журнала просто не было бы. Но, с другой стороны, набивать журнал рекламой только для того, чтобы иметь возможность выпустить журнал с рекламой? Какой-то бессмысленный круговорот.

— Послушай, Катя, — говорю устало. — У тебя вся жизнь как маркетинговый план.

Я уже точно решил, что уйду из журнала. Вот только куда, не знаю. Думаю: ведь и моя-то жизнь, в сущности, все тот же маркетинговый план. Да и любая другая тоже. И то, что в конце дня я сорвался в Петроград, потому что Юнне нужно утеплить в квартире окна — она пожаловалась, что замерзает, — не что иное, как маркетинговый план.

В окнах не просто щели, а крупные дыры, из которых дует холодный воздух. Как она здесь спит? Ладно, осталось недолго, ведь мы скоро будем жить вместе. Юнна позвонила после «Космоса» и сказала мне об этом. У нее изменился голос, она стала звонить перед сном, и я частенько засыпал под утро. Тогда я понял, как влюбленность поражает человека. Понял с удивлением и счастьем, отгоняя другие мысли: а что будет, когда это все пройдет? Я отправился в храм и поставил свечку, благодарный за дарованное счастье Господу и Москве.

Юнна рассказывала о прошлой жизни: прежних влюбленностях, пережитых невзгодах и радостях, доверяла страницы жизни, которые хотела забыть. Она раскрывалась с опаской: — Тебе еще хочется со мной жить?

— Мне хочется любить вас еще больше.

В углу стола лежит телеграмма, мое поздравление из Москвы: «Желаю всегда хорошей погоды». Нам по-прежнему приятно говорить о ней. Может, в разговорах о погоде есть рецепт какого-то особого сближения? Зачастую я был уверен: это действительно так.

А где-то в комнате еще один мой подарок, золотые серьги. Я вручил на Патриарших.

— Гоша, как красиво! — сказала тогда Юнна. — Но я же не ношу серьги.

Мы вспоминаем это с улыбкой, да и вообще теперь живем с улыбкой. Это ново и прекрасно для меня.

Прощаемся у метро «Мужества», я долго смотрю ей вслед. Юнна несколько раз оборачивается. Машу ей рукой, и она уходит в метро. Спустя несколько дней она почему-то напишет: «Мне только что приснилось, что ты очень сильно кричишь. И стало так страшно! Так ведь не будет никогда, правда?»

Я не стал говорить о своем сне. В нем Юнна прыгала с высотного здания, настолько высотного, что таких нет даже в Москве, да и нигде в мире. Может быть, хотела полететь на своих крыльях, на которых так часто летала во снах, а может... Я мчался по лестнице, перелетая пролеты, а им все не было конца и края. Словно очутился в бесконечной западне, где чем больше спешил, тем вернее терял время.

И как хорошо, что можно было проснуться.



НЕТ ПОВОДОВ НЕ ВЕРИТЬ В НОВЫЙ ГОД

Теперь мне казалось: когда Юнна увидит квартиру, развернется и сразу уедет. Но нет.

— Нормально здесь, вроде, — сказала она, заглянув в комнату. — Только перестановку нужно делать.

И вздохнула.

Здесь и вправду нормально: недалеко станция метро, одна из самых красивых и чистых. По широкому проспекту в двух минутах ходьбы от дома — троллейбусы, маршрутка № 213 до Трубной площади; всего каких-то пятнадцать минут, и центр.

Сегодня тридцать первое декабря, и у меня нет больше поводов не верить в Новый год, Деда Мороза, ангелов.

— Я буду ангелом-хранителем твоим, — сказала Юнна в минуту нежности.

Мы купили снежинки и веселые елочки — наклейки на стекло. Возле подоконника поставили цветы. Теперь, возвращаясь из магазина, я мог поднять глаза и увидеть свою красавицу, ждущую возле окна. Юнна махала рукой, а кот сидел рядом и изучал двор.

Спешно наряжали елку, разбирали вещи, готовили салаты. Нужно было успеть до курантов. По квартире разливалась песня:

А хочешь, я выучусь шить?
А может, и вышивать?
А хочешь, я выучусь жить,
И будем жить-поживать?

Казалось, как ни встретишь этот Новый год, он все равно будет лучшим.

— Мы вместе, — говорила Юнна. — Вместе навсегда.

Ну, подумаешь, начали пить чуть раньше?! Это же игристое.

Освоившись в новой квартире, кот скачет по ней, будто заяц, прижав уши. То под диван забежит, то под ванну, с разбегу ударившись лбом, то влетает к нам в кухню.

— Не мешай, сказала! — сердится Юнна.

— Ну, хватит котом командовать, — говорю. Это веселит Юнну.

— Командовать котом! Ну надо же, — она обнимает меня. — Мне так хорошо с тобой.

Но кот не успокаивается. Слишком поздно вспоминаю, что в прихожей — новое зеркало, только что из магазина.

— Вдребезги, — констатирую я.

— На счастье, — смеется Юнна. Иду выносить зеркало на помойку.

Вернувшись, ставлю ноутбук на откидной стол — выдвижную дверцу старой «стенки».

Придвинув стул, пытаюсь освоиться на новом рабочем месте: пробую, как здесь будет сидеть. Мне ведь предстоит писать статьи, плюс подработка, коммерческие объявления. Почему-то вспоминается: такой же стол был у известного писателя, когда он приехал в Москву. Писатель говорил об этом в интервью. Но это кажется лишь флешбэком, воспоминанием из далекой жизни, которую я навсегда оставил.



КАК ПАХНЕТ НЕБО

День рождения Юнны. С утра мы завтракаем и собираемся в дорогу. Предстоит ехать за город, лучше одеться теплее. Юнна не понимает почему: на дворе жара, лето. Едем в электричке, улыбаемся, смотрим в окно. Мы рады друг другу и рады хорошему дню. Впереди столько прекрасного, думаю я. Золотое время наступило; разве нужно что-то еще, чтобы быть счастливым?

Нас встречает машина. Едем по маленькой дорожке через лес. Заинтригованная, Юнна улыбается, вот мы подъезжаем к воротам, и только сейчас она понимает, куда мы приехали и зачем. Здоровые ребята в униформе погружают в кузова корзины и проверяют горелки: над двором вздымается пламя. Кажется, что на мгновение Юнна превращается в девочку, которой сегодня исполнилось пять или семь лет. У которой сегодня исполнилась мечта.

— Ура! — она кричит и хлопает в ладоши, да так заразительно, что я и сам не выдерживаю, смеюсь. — Гошка, как я счастлива!

Вот они, моменты, ради которых стоит жить. Когда мечты исполняются. Сегодня мы полетим на воздушном шаре.

На самом деле мне очень страшно. Оказывается, в корзине еле помещаются три человека, а сама она чуть выше пояса. Здесь же рядом баллоны; даже не присядешь, если станет страшно. Первым делом интересуюсь у инструкторов, будет ли трясти корзину. Юнна улыбается. Похоже, ей до фонаря вопросы безопасности.

— Летим! Летим! Летим! — она аж прыгает.

Пока готовят шары, мы гуляем по полю. Я забываю было о страхе, но вот шары начинают надувать, и становится понятно: каждый величиной с наш дом. Но Юнне больше интересна форма.

— Наш в виде сердца, Гошка! — кричит довольная Юнна. В честь дня рождения я выбрал такой. Правда, это не единственное сердце, да и ощущение полета, наверное, такое же, как на обычном шаре.

Мы стоим перед ними, маленькие, беззащитные. Чтобы забыть о несправедливых эмоциях, достаю телефон. Довольная Юнна сразу принимается «обнимать» наш шарик, а рядом режут моторы отъезжающих машин, то и дело шипят горелки, и эти звуки тоже заглушают страх.

Шары взлетают друг за другом, совсем не медленно отплавая, как представлялось мне, а резко, бескомпромиссно отрываясь от земли, словно пытаюсь порвать с ней навеки. Шары вырываются на свободу, и люди вырываются в них. Нам предстоит час свободы. Оплаченный, гарантированный час.

Я беру Юнну на руки и помогаю перебраться в корзину, затем залезаю сам. Шар взлетает без предупреждений, и даже в те дни, когда я признавался в любви к Юнне, когда она призналась

в ответ, земля не уходила из-под ног так быстро. Но страх остался внизу. Открыв глаза, я поймал восхищенный взгляд Юнны и понял: что бы дальше ни случилось, все это было не зря.

Через пару минут корзину окутает белая пелена, запахнет сыростью, а затем мы увидим внизу облака под нами. Мы попадем в чистый свет, в небо. И наша любовь навсегда будет озарена. Мы летим здесь и сейчас, в эту минуту, в этот отрезок мгновенных жизней, прикоснуться любовью к вечности. Мы летим сохранить лучшее, что есть в нас. Пилот достает игристое — небольшой бонус к полету:

— Пора отметить ваш воздушный дебют!

Эти слова растворяются в облаках и становится тихо. Так, наверное, и должно быть в раю.

Позавчера к нам приезжали родители Юнны. Мать вынесла строгий вердикт:

— Живете вы бедно. Но ничего, дело наживное.

Была у нас и ее сестра, деловая женщина. Посмотрела, покачала головой. Она не дышала небом.



КРАСИВЫЙ ДЕНЬ

— Мир мой, сердце мое, родной, — называет меня Юнна. Я отдыхаю с нею душой, отдыхаю от всей той дряни, которой захлебывался в институте, в юности. Когда сидел в дешевых кабаках и курил друг за дружкой вонючие крепкие сигареты, плевал погаными суждениями о жизни, которые даже не претендовали на то, чтобы стать откровением. Меня мало кто видел трезвым, но я таковым бывал. Просто в те моменты никогда не встречался с людьми.

Я читал книги. От мысли, что с людьми можно общаться трезвым, меня бросало в дрожь. По совокупности этих причин

я называл себя люмпен-интеллигент. Это определение меня устраивало; вопрос, что будет дальше, заботил мало: моей религией надолго стала вера в собственное несчастье. Но, даже засыпая в засранном подъезде или незнакомой квартире, или подыхая от утреннего похмелья, или рассуждая в углу забегаловки о Сиоране, постмодернизме и русской литературе, я ни на минуту не терял убежденности, что когда-нибудь это кончится. Что все это не просто так, а *вместо чего-то другого*, чего у меня пока нет, для чего не пришло время.

Я ходил в потрепанном драповом пальто на пару размеров больше, которое купил в секонд-хенде, красном шарфе и берете, с неизменной бутылкой вина в глубоком внутреннем кармане. Был смешной случай: желая переспать с санитаркой, я полчаса с жаром рассказывал, что думаю о Солженицыне. Бедная девушка не знала, что сказать. Все это время мы пили, и когда ключевой момент встречи стал близок, всем уже захотелось спать.

Вскоре я начал думать, что так же может случиться и со всей жизнью. Перемены не наступали, а время утекало тоненькой струйкой жизненных соков, энергии: бухать с каждым годом становилось труднее, а обсуждать бесперспективность бытия скучнее и противнее. Я понял, что жизнь никогда не изменится, что ей все равно, погибну я или добьюсь победы. Но в чем я мог достичь победы, кроме пьянства и литературной болтовни, в тогдашние двадцать шесть я даже не мог представить. Но с каждой пьянкой, с каждой новой встречей, с каждым тревожным, дрожащим всем телом утром я понимал: есть единственный способ спастись — душиТЬ в себе Сиорана, постмодернизм и русскую литературу. И свое мнение о Солженицыне душиТЬ.

Юнна не знает Сиорана. Она не понимает ничего в постмодернизме и литературе, и с каждой нашей прогулкой, с каждым

вечером в открытом ресторанчике или домашним ужином я наслаждаюсь тем, что это так, а не иначе. Нет ничего прекраснее прогулок в парке, красивее Путяевских прудов или Дворцового, где мы стоим и кормим уток, а на часах всего лишь полвосьмого, работа уже закончена, и больше не нужно ничего ни писать, ни читать.

Впереди у нас Крым. Как и у всей огромной страны; но ни стране, ни нам это пока не известно. Юнна еще не была там, но я знаю: он будет наш. Не влюбиться в Крым невозможно, как и не быть счастливым в Крыму. Я вырос там, я знаю. Нашел охапку подработок к отпуску: где написать про дизайн, в котором ничего не смыслу, где разместить предложение о недвижимости, которую мне не приобрести, где написать о далеком городе, в котором не побывать; я настоящий «креативный класс». Мне иногда не по себе от этой мысли, но не это ли то, чего я когда-то хотел? Сегодня день моего рождения, повод задуматься о таком.

Мы едем в Измайлово кататься на колесе обозрения и есть шашлык.

— С днем рождения, Гошечка мой!

Сегодня все самое вкусное: и салат, и мясо, и свежее темное пиво. Легкий, красивый день. А вечером Юнна скажет:

— Я хочу, чтобы ты был отцом моего ребенка. Мне кажется, нам пора.



ГОРИЗОНТ

Снова Петроград. Но это уже не тот город; не мой и не наш с Юнной. Это место, где живут родственники и оставшиеся друзья. Я не приезжал к ним год, когда-то это нужно было сделать. В моем плеере Юнна. Перед отъездом она записала мне песню:

Может там, за седьмым перевалом,
Вспыхнет свежий, как ветра глоток,
Самый сказочный и небывалый,
Самый волшебный цветок!

С тех пор, как она в Москве, жизнь покатила счастливым колесом и вроде не планирует остановиться. Ее вполне можно назвать нормальной. Теперь я редактор в новом сетевом СМИ, развиваю регионы, ищу и обучаю людей, вникаю в повестку дня. Среди этих городов есть те, в которых когда-то жил, читал, пьянствовал и умирал от тоски. Но после Москвы мне уже никуда не хочется. У меня есть планы по работе, мечты о профессиональном росте. Я изучаю опыт тех, кто добился высот в журналистике, читаю авторские книги, изучаю методички, сайты.

Хожу в тот же храм, но уже ни о чем не прошу, просто говорю спасибо. Бог помог мне в главном: я стал простым, обычным человеком. Дальше сам. Я смог оценить, какое это счастье, жить нормальной жизнью. До дрожи в руках, слез в глазах, боли в самых глубинах сердца.

Я добился главного в жизни — любви. Добился тем, чем умел: перепиской, словом. И редкими, но драгоценными встречами. Она приехала, поверила, она помнила все эти мои слова. Теперь мне нельзя обмануть ее, разочаровать. Я просто не имею права.

В светлой кафешке рядом с новой станцией метро сидят мои друзья. Люблю людей из прошлого; благодаря этой любви они парадоксальным образом никогда не уходят в него навсегда. Все они со мною: были, есть и будут, даже если я больше не встречаю кого-то из них.

— А еще мы планируем свадьбу, — говорю тихим голосом, как бы не веря себе. — Правда, кредит даже взял. Без него не разгуляешься. С зарплаты отдам, дело того стоит.

Показываю фотки с нового телефона: вот мы с Юнной в Парке Пешкова, вот летим на воздушном шаре, а вот мы в Крыму,

откуда только вернулись. Впечатлений полно, но всего не расскажешь!

— Мне кажется, Гош, ты впервые счастлив.

Не отрицаю, улыбаюсь. Снова выпиваем. Но проходит всего несколько минут, и просыпается дьявол.

— А еще я писать начал, — ставлю на стол стакан. — Вы же помните, как мечтал.

И на спокойном горизонте будущего вдруг сверкает молния. Короткая, предупредительная: где-то впереди *портится погода*. И невидимый демон хохочет в мое довольное, добродушное от пива, располневшее лицо. Но я не слышу его хохот.

Я слышу только себя.

Д

СУМЕРЕЧНАЯ СТОРОНА

Соснора показал на дачный дом.

— Здесь живет писатель N, — он назвал известного советского прозаика и уважительно добавил: — Он каждое утро садится за стол и пишет.

— Так ведь он плохой писатель, — легкомысленно сказал я.

Соснора ответил:

— А какая разница. Писать плохо так же трудно, как писать хорошо.

В. Дымшиц, из воспоминаний



ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ

Сажу на пляжном полотенце. В руках толстая книга, сборник прозы московских писателей, кажется, что я его никогда не осилю. Ноги омывает море, достаточно встать, отложить этот сборник, а то и вообще убрать с глаз долой и сделать пару шагов, чтобы почувствовать себя счастливым. Море — оно и есть море.

Прошлым летом мы побывали на персональном пляже. Нас высадил лодочник со всеми арбузами, персиками и вином, чтобы вернуться глубокой ночью. Каменистый пляжик был размером с маленькую комнату, вместо стен окруженную с трех сторон скалами, а вместо окон, дверей и прочих условностей бесконечное море у ног. Мы соревновались, кто отыщет больше камешков, похожих на сердце. Моя любимая победила.

— Как же я счастлива! — кричала она.

Не от победы, конечно. От солнца, неба и моря. А когда наступила ночь, по воде раскинулась лунная дорожка, мы отправлялись к ней в гости, играли в искорки, рождавшиеся взмахом руки, плясавшие вокруг и сиявшие глубинным подводным светом. Ночной пляж сливался со скалой, становился одномерным, высился величественной стеной за нами, а где-то вдали вспыхивали и гасли одинокие огни лодок. И вот мы на берегу, мы одни в первозданном мире, том мире, каким он и должен быть, каким был за много эпох до нас. И каким он еще будет. Мы едва успеваем одеться, когда к нам приближается свет лодки.

В этом году все проще. Простые лежаки, простая книга, орешки в сумке, несколько вареных раков, и все готово к тому, чтобы пить пиво, за которым Юнна отправилась в маленький пляжный бар.

Думал ли я тогда в том раю, что когда-нибудь мне не хватит его для счастья? Что потребуются что-то другое, и это другое заслонит от меня Юнну, убьет прекрасное воспоминание? Что в ответ на тревожные слова любимой буду хмуро и тяжело молчать. Тем летом я достиг абсолютного счастья, и будто из недр его, повинувшись свободному ветру и морю, а может, еще и вину, родилась идея, захватившая меня на весь прошедший год.

Написать книгу.

Идея загрузилась в меня полностью, целиком, не оставив мне поводов для отказа. Ее не нужно было додумывать, мучительно вынашивать, откладывать до лучших времен. Мне сразу же стала понятна концепция: несколько повестей, и я сразу знал, о чем будут эти повести. Конечно, я не увидел книгу во сне, как Менделеев, согласно легенде, таблицу, или во время солнечного удара. Но мне не пришлось искать эти сюжеты, все они появились за пару дней, проведенных в вечерних прогулках по городу и отдыхе на лежаке. В те дни я был молчалив, что не могла не заметить Юнна. Но я ничего ей не говорил.

Немного напрягало только то, что, по подсчетам, на сочинение книги требовался целый год. Мне предстояло работать в офисе, подрабатывать, развлекать Юнну, делать общие дела, а все оставшееся время посвятить новому занятию. Но проект «стать писателем» и мог быть только долгосрочным. Что делать с книгой дальше, я не знал. Наверное, нести в издательства. Сколько их сегодня, два, четыре, десять?

Писать я решил по утрам. Приезжал на работу раньше, к семи или восьми утра, когда остальные — в десять. Если у меня был выходной и Юнна уезжала, занимался этим целый день. Начинать писать было сложно, но еще сложнее остановиться. Я начинал думать своей книгой, жить ею, и возвращение в реальность давалось тяжело, со скрипом, будто проржавевший рычаг.

Я твердо решил сказать Юнне о замысле, только если он принесет результат: книгу примут к публикации в издательстве. Только опубликованное, оцененное кем-то, отмеченное имеет право на существование; рукописи не литература, а история болезни.

И вот снова пляж, снова светлые улицы Севастополя. Только книга уже готова. Я походил на выставки, изучил издательства: по всему выходило, чтобы ее пристроить, нужен как минимум еще один год. Теперь я смотрю на воду, отложив толстый сборник в сторону. Мне предстоит разговор с Юнной, он будет не самым приятным, но это потом. А сейчас она возвращается с пивом, мы будем чистить раков, начнется хороший и теплый вечер. Как будто и не было никакой книги. Как будто и год не прошел.



НЕ ТВОРЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ

Филевский парк самый мрачный в столице. По крайней мере, нам с Юнной здесь не понравилось, мы вряд ли придем еще. Кроме велодорожек, здесь только слякоть и грязь, да красивый

скворечник на дереве. Юнна подходит к нему, тянет руку. Достают телефон.

— Улыбнитесь, — говорю. — Я так люблю вашу улыбку.

Юнна стала улыбаться реже. Конечно, причиной тому не плохая прогулка. Не хватает денег, их нужно все больше: на кота, на зубы, на одежду, на покупку того, что закончилось, на замену того, что сломалось. Подработку я бросил, потому что занялся книгой.

— Я много работаю, чтобы чего-то добиться, — объясняю я Юнне, вот только не говорю, над чем. Когда живешь с женщиной, уже не напишешь ей в социальные сети, что денег мало, но вообще, я молодой и перспективный. Деньги нужны сегодня, сейчас.

Как нужно и время. Все реже мы проводим его вместе. Юнна устает на своей работе, приходит домой, валится с ног, готовит еду. Мне стыдно. Но я могу приготовить есть для себя, что-нибудь пересоленное, пережаренное, невкусное. А кто приготовит ей? Что я умею — складывать разнообразные буквы в слова, *играть* ими, наслаждаясь воображаемым впечатлением воображаемого читателя? Пускай я немного известен как публицист, пишу в основном о политике, об обществе; в последнее время об этом нельзя не писать. Но когда ссориться с любимой и в глазах стоит боль, потому что любая ссора точит отношения, казавшиеся незабываемыми, не скажешь: я вот написал колонку, она собрала двести с чем-то там откликов. Говорить нужно коротко: я все исправлю. Но ведь надо исправить, не только сказать.

В ванной я редактирую. Но это не фишка, не творческая концепция. Когда человек беден, нет никаких концепций. Любое действие окружающих, не связанное с зарабатыванием денег, он оценивает с одной позиции: жируют, суки! В том числе и свое. Отчаяние — единственная доступная мне концепция, проверенный поставщик вдохновения, а вдохновение

приводит к новому отчаянию. Благодаря такому сообщению сосудов и работает весь творческий кустарный аппарат.

Перед тем как начать книгу, я ездил в храм, ставил свечку. О чем книга, не говорил, ведь Бог, он все видит.

— Пусть она получится. Мне нужно стать заметным. Мне есть что сказать людям, и я хочу говорить.

Шатался по книжной выставке в поиске издательств, согласных опубликовать книгу. Их представители смотрели недоуменно, намеренно затягивая время, чтобы я отошел сам, ощутив неловкость. Приветливой была лишь продавщица шоколадок; я прикупил одну для Юнны. Над одним из стендов — стул, стол и несколько книг. Я прочитал: «Форум молодых писателей».

— А что, вы вправду никогда не слышали, что есть такой форум?

— Нет, — говорю. — Никогда.

Смеются: вы же писатель! С этим не хочется спорить.

— Я сначала писал книгу, теперь думаю, что с ней делать. Все должно быть последовательно. Зачем знать про форумы, если не с чем на них ехать?

К стенду подошел Сергей Филатов, который и организовывал эти форумы, и с ним еще несколько человек. Меня представили: писатель, который о вас не знал. Он предложил сфотографироваться с ними. Снимали долго, и я нервничал. На соседнем стенде продавал свои книги советский писатель Баженов. Мы разговорились, и он спросил, где у меня что-то выходило. Было стыдно признаться, что еще нигде не публикуюсь, и я ляпнул:

— В литературных журналах.

Но про журналы я хотя бы знал. В них отвечали неохотно, коротко и зло. Даже если напечатают, как я с удивлением выяснил позже. Моя тактика в их отношении проста: беру одну повесть и закидываю сразу всем. На отправку всех писем уходит пара часов, на ожидание порою до года. Думаю, будет здорово, если повесть примут везде. Вот, например, в музыке: одна

и та же песня выходит на сотнях дисков. Благодаря чему ее и знают.

— Это хорошо, — сказал Баженов. — Если публикуетесь в журналах, значит, у вас есть будущее.

Я возвращался домой, уверенный в будущем. Привычно задрал голову, увидеть наше окно.

Но Юнна не смотрит во двор, в окне пусто. И даже кот не сидит.

→

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ГОДА

Очередной Новый год мы отмечали спокойно. Вот и пришел он, 2014-й. Отпраздновали — и ладно.

А как я только не встречал их прежде! В петроградском метро, на конечной трамвая, в электричке Петроград — Приозерск, на черной лестнице незнакомого дома, в плацкартном вагоне поезда Горький — Петроград, распивая черную водку, с книжкой, с родителями, засыпая от паршивосортных передач. А то и в астральных мирах, ударившись лбом о забор вокруг детского садика, незаметно возникший перед глазами. Или в пьяной квартире с единственным другом и толпой незнакомых людей, с неперменным сном в туалете и блевотиной, точно фейерверком, довершающим веселье.

А сегодня сижу за столом, доедаю вчерашние блюда, подливаю игристое. Юнна отдыхает, а я не привык в новогоднюю ночь долго спать. Праздничные «Интерны», «Шерлок», «Ирония судьбы» в 15:20, для тех, кто в это время только приходит в себя. Кот, прячась от одиночества, запрыгивает на колени и сворачивается калачиком, свесив хвост.

Я люблю первый день года куда больше, чем первую ночь. Волшебство случается именно первого января. Оно в тишине, в том, что никуда не надо, в том, что ничего и никому не нужно от тебя, ты можешь быть собой и сам собой. Ты можешь

наблюдать, как идет снег, а можешь сесть в транспорт и долго куда-нибудь ехать, в далекий зимний парк. Достать бенгальские огни, выстроить их в ряд и пробежаться, поджигая друг за другом.

Мы прогулялись ночью до пруда. Взяли небесный фонарик-сердце, решили поджечь, но он не взлетел. Что-то в нем повернулось не так, загорелось — хотя кажется: что там сложного? — и едва фонарь поднялся в воздух, как его охватило пламя. С огромной дыркой в боку, словно подбитый и истекающий огненной кровью, он упал на темный лед пруда.

Мы обнялись. Хотелось что-то сказать, но не нашлось слов. Юнна верит в знаки и символы, да и я, получается, тоже. А еще и в этот раз под бой курантов я впервые за долгое время загадал не любовь и счастье. Я загадал, чтобы издали книгу.

И вот, свернув все окна, я сижу. То посмотрю на Юнну: она спит и слегка посапывает. Готов ли я ее, вот этот нос променять на книжку, на какое-то писательское будущее? Абстрактное, которое, вполне возможно, не наступит никогда. «Но почему променять? — удивляюсь собственным мыслям. — Кто же так ставит вопрос?»

— Ты уже это делаешь, — отвечает прозрачным голосом Первое января.

— Но неужели нельзя по-другому?

В ответ лишь дрожит воздух да мурчит, поворачиваясь на мне, кот.

Мы теперь все больше молчим. Даже в кафе: сидим, закажем что-то и молчим. Вроде хорошо нам, а вроде раньше было лучше. Мы так беспечно проводили время, болтали обо всем, наслаждались тем, как познаем жизни друг друга.

— Я не хочу работать, — говорит все чаще Юнна. — Я устала. Безумно устала.

«Вот о чем надо думать, дебил», — укоряю себя. Все верно, такую работу, как у нее, конечно, нельзя хотеть. Но как я могу

помочь? Ведь вся жизнь работа, и у меня так, и у нее. Шансов побыть в этой жизни писателем у меня, прямо скажем, немного. Но это хотя бы мне нравится. А шансов добиться чего-то в другом все меньше. Хорошо, что сейчас праздники, можно отвлечься от этих мыслей.

Ведь женщине не нужно это все, она не понимает. И не подбираешь слов, чтобы она поняла: *зачем* это? Вроде живет с мужчиной, и формально все признаки мужчины налицо: твердость, упорство, уверенность в правоте. Но к какой цели приложены эти качества?

Какое-то писательство, журналы, публикации. Бездумная трата энергии, приложение сил к абсурдному, заведомо не выигрышному делу. Его ли я обещал своему сопящему носику, когда звал в Москву? Разве я говорил, что лучшие годы совместной жизни — первые, еще пропитанные романтикой, сказкой — пройдут в мучительном уединении, в просьбах о тишине и закрытой двери, в ударах по столу кулаками, в ругательствах, когда что-то идет не так? Разве же я говорил, что у меня такая мечта? Она ехала к молодому начинающему руководителю, кого любовь к ней подбросила из стойки с товарными чеками и накладными в главное информагентство страны. Кто бы приехал к писателю? Никто.

→

ЧТО-НИБУДЬ ПРИДУМАЕМ

Маленьких радостей становится не так уж много. Все время поглощает работа, если что-то остается — пишу или отыскиваю новые журналы, изучаю издательства. Если что-то нахожу о премиях, пролистываю: рано, ну какие премии! Ведь даже книга еще не вышла, публикаций толковых нет. Но однажды натыкаюсь на премию, для которой быть писателем вообще не надо. Якобы эта премия и делает тебя писателем.

Представить себя победителем я не мог; смешно. Но поскольку для участия вообще ничего не требовалось, я не поленился выбрать самую крупную повесть, «Буйный кот», нажать «прикрепить» и «отправить». Мне кажется, там была кнопка «забыть», и, по-моему, я ее тоже нажал.

Мы оба устали и очень хотим в отпуск. Настроение приподнятое, потому что этот отпуск близок, да и день выдался хороший: день рождения Юнны. Мы выбрали мобильный телефон и поехали в центр, в ресторан на крыше.

— Любимая, — говорил я. — Мы, наверное, переживаем сейчас сложные времена, но я благодарен за то, что мы вместе. Наша любовь — по-прежнему главное в моей жизни, и каждый вечер я предвкушаю встречу дома. Пусть всегда сияет эта самая красивая улыбка, ну а я уж постараюсь...

И что-то там еще. Погода оказалась не на нашей стороне. Официанты вынесли пледы, мы приняли пару шотов, но все равно было холодно — ветер сдувал со столиков меню, посетители расходились, а крытый зал был занят под банкет.

— Надо уходить отсюда, — зевнула Юнна. Мы прогулялись по Садовому кольцу, распили по бутылке пива. Дошли пешком до «Достоевской», сели в поздний троллейбус. Юнна путала их с трамваями, называя один другим: вот и сейчас, по ее версии, мы ехали в трамвае, хотя в этих местах никогда не было рельсов.

— Неплохой был день? — спросил я.

— Ага, — кивнула Юнна.

Сегодняшний день хуже. Звонит из Петрограда мать.

— Как-то у нас все плохо, — рассказывает она. Последние лет десять наши разговоры по-другому не начинаются. — Со здоровьем у меня, у отца. Он работает без выходных, устает, падает. Давление скачет. Голова болит постоянно, говорю ему — к врачу иди, а он не хочет.

Киваю.

— А что у тебя с лечением?

— Врачи говорят — нужна операция. Но не хотят делать. Говорят, состояние может стать хуже. Да и денег, к тому же, нет.

Это я помню: там нужно не десять, не двадцать, а сразу тысяч семьсот. Задача не из подъемных — ни для кого из нас.

Господи, думаю: бросить бы к черту и журналистику эту, и писательство, все эти странные занятия, лишь умножающие беды и несчастья, и заняться, наконец, нормальным делом, чтобы сделать счастливыми мать и отца. Юнну, которую сам же и выбрал. Но так я могу только думать, стоя у озера и глядя на горизонт или сидя в утренней маршрутке. Это не мечты и даже не надежды, просто мысли, они рассеиваются как туман, а я возвращаюсь к привычному делу, снова сажусь за стол. Лишь иногда просматриваю вакансии. Пойти бы каким-нибудь менаджером, лишь бы получать хотя бы раза в два больше, а что — я пошел бы! Никакого почтения к тем делам, которыми я занимаюсь, нет. Никаких иллюзий насчет них тоже. И никакого будущего с ними. Но я делаю их потому, что могу. Что я умею еще? Разгружать коробки?

Освоить бы рабочую профессию, подумываю иногда. Но поздно: все стоит денег, и даже не только денег — времени, а у меня семья, мне нельзя чему-то учиться, мне нужно платить за квартиру, иначе нас просто выставят. Вот, собственно, все.

— Ладно, мам, — говорю. — Что-нибудь придумаем.

Эти слова — фальшивая глупость. Мы ничего не придумаем. Родителям поздно, а сын им попался странный, не поддающийся привычному просчету: вот столько-то лет мы ему помогаем, вот столько-то он нам. Одним словом, не футболист «Зенита».

Я думаю о детях с тревогой, в первую очередь вспоминая себя. Огради моего ребенка, Господи, от всякого творчества. От рефлексий, метаний, исканий, терзаний и болезненной любви. Огради его от литературы, Господи. Нет, пусть, конечно, читает; я стану приветствовать чтение. Но пусть никогда

не пишет, даже не думает об этом. Да святится имя Твое, Господи, во веки веков, аминь. Воистину, велик Ты и справедлив.

А если будет девочка, пусть станет маленькой принцессой. Мы будем расчесывать ей волосы и надевать красивые платья, будем гулять и покупать огромнейшую сахарную вату, читать ей добрые сказки и крутить волшебное кино. Пусть только никогда не знает ни Сиорана, ни Солженицына, потому что эта компания непременно познакомит ее с другой — таких же вонючих, пропахших сигаретами и пивом лузеров, каким был ее папаша. Приведет во мрачные подземелья грязных баров и резких, визжащих звуков, выдающих себя за истину. Пусть лучше радуется солнцу.

Мысли проносятся за секунду. Хочется сказать что-то успокаивающее матери, хочется самому защититься от ужаса. Впрочем, какой защититься! Лишь заслонить рукой. Не видеть, не думать, не знать — это тоже лекарство. Отпускается без рецепта.

→

Я НАПИСАЛ КНИГУ

Мы поднимаемся на круглую веранду ресторана. Набережная Балаклавы. Здесь всего четыре столика: за одним сидит тихая пара и пьет вино, за другим — двое киношников, хохочут, травят свои байки, жрут в три горла водку. Через две недели здесь побывает премьер-министр России. Довольный, он будет сидеть со своим айпадом на том самом месте, куда сейчас присаживаемся мы. Заказываем суп, костлявую рыбу дорадо, игристое вино севастопольского завода. С высокой веранды открывается вид на бухту. Прекрасный южный вечер! Но я поднимался сюда словно на эшафот. Я знаю, чем он закончится. Не знает Юнна. Счастливая и уставшая, она подмигивает мне, улыбается. Наш отпуск подходит к концу, остается пара деньков. Один из них наверняка на сборы.

Внизу под нами косяки коротких черных рыб, вьющихся возле причала. Полчаса назад Юнне пришла в голову смешная идея кормить их хлебом, и вот мы стояли, наблюдая, как они заглатывает крошки своими черными ртами. Я натужно улыбался и готовился к разговору, который случится здесь.

Пока ждем еду, всматриваюсь в самые далекие огоньки, какие только могу увидеть. Думаю: «Зато сейчас нам точно будет о чем поговорить». В последние дни мы все больше молчали. Приходили в кафе, обсуждали меню, перекидывались парой общих фраз, как искупались, что купить на ужин. Потом приносили блюда, мы ели их молча. Долго сидели, смотрели вдаль и по сторонам, а встречаясь друг с другом взглядами, улыбались и отводили их. Иногда я говорил:

— Расскажите что-нибудь.

— Особо нечего, — отвечала Юнна.

Однажды я, злой с похмелья, не выдержал и сказал:

— Юнна, не кажется ли вам, что мы в последнее время вообще перестали разговаривать? Сидим и едим, и все время молчим, куда бы мы ни пришли. На море тоже молчим. Да и дома молчим тоже.

Я бы мог открыть книжку на телефоне, но ведь мы пришли вместе. Как-то это неприлично, дико. Подумав это, я с удивлением замечал соседей, людей за ближайшими столиками. Они сидели, уткнувшись в свои устройства, многие целыми семьями — каждый в свое. Помню, подумал: «А может, эти устройства не разделяют семьи, а, наоборот, укрепляют их? Так им никогда не скучно. По крайней мере, они не замечают скуки. И не надоедят друг другу».

— Тебе больше не хорошо со мной? — спросила Юнна.

— Нет, в том-то и дело, что это не так, — я поспешил опровергнуть.

— Ну, не говорим. Хорошо же? — пожала она плечами. — Мы ведь отдыхаем.

На какое-то время я успокоился и наслаждался обществом Юнны. «Чего это я, — убеждал сам себя. — Мне хорошо от того, что она рядом. Легко. Спокойно. А что не говорим — так это ты сам виноват. Это все твои дурацкие повести. Раньше ты жил Юнной, ее миром. А теперь ты живешь *ими*».

Это было почти что правдой. Новые идеи могли посетить в любой момент, что и происходило каждодневно, по несколько раз за день. Они окружали меня, как злые осы, и жалили, отравляя ядом. И никуда от них не скроешься: нужно делать наброски, чтобы не потерять мысль, а за нею приходила следующая, а следующую нужно было развивать... Они нарастали как снежный ком, а потерять хорошую идею или фразу было обидно, да что там обидно — непростительно. Я почти не отмахивался от ос, позволял им жалить себя и по полдня мазохистски расчесывал раны. Что бы ни говорила мне Юнна, я все равно не слышал ее, погруженный в другую реальность. Так не потому ли она молчит?

— Юнна, — наконец начинаю. — Нам нужно поговорить.

— Да, это я уже слышала. Вот, говорим.

Решаю начать издалека.

— Я написал книгу.

— Книгу? — удивляется Юнна.

— Ну да, — подтверждаю. Это ожидаемо не производит впечатления.

— И ты хотел поговорить об этом?

— Не совсем. Это как отправная точка. Дело в том, что... Я не хотел говорить, в общем, раньше, пока все не готово... Вы бы раздражались, злились на меня, что я занимаюсь глупостью. Но для меня это очень важно. Я всегда хотел стать писателем, только надолго забыл об этом. И, в общем, сейчас захотелось снова.

— Что же, молодец, — только и сказала Юнна. — Когда ты вечером говорил, что работаешь, и я уходила — тогда ты писал?

— Нет. Когда я говорил, что работаю, я работал. А писал в основном по утрам. Ну и когда вас не было.

— И что ты теперь будешь делать?

— Понимаете... Мне уже тридцать лет, и я с каждым годом понимаю, что уходит время...

Оно уходит куда стремительнее, чем я бы того хотел. Я ничего не успеваю!

Юнна неопределенно кивнула.

— Я понимаю, что если чего и смогу добиться, так только в этом. У меня больше нет никаких возможностей. И не представится. Я когда-то мечтал о журналистике, — решаю сказать откровенно. — Но сейчас все изменилось. Мне тяжело там работать, меня раздражают люди, которые работают там, их характеры, их взгляды, и вообще... Я не такой, как они все, мне с ними не нравится. Я не знал раньше эту среду, а теперь знаю слишком хорошо.

— А писателей ты знаешь?

— Писателей мне рано знать. Но когда-нибудь узнаю, ничего. Мне нужно сейчас работать с издательствами, пытаться как-то продвинуть книгу. Я буду звонить, ходить, предлагать, разговаривать. И я... В общем, не знаю, что из этого всего получится.

— Я в тебя верю, — говорит Юнна, поднимая бокал с игристым. — У тебя все получится. Ты всегда своего добивался.

Слова мне приятны, но делаю вид, что не замечаю их. Подступаю к самому страшному.

— В общем, Юн. Такие дела, — понимаю, что тянуть дольше некуда. — Я не хочу сейчас никаких детей.

Юнна молчит.

— Ребенок в моей ситуации — это крах всех надежд. Я ничего не смогу добиться, если будет ребенок.

— А чего ты вообще хочешь? — как будто отстраненно спрашивает Юнна.

Пожимаю плечами.

— Хочу занять мое место. Хочу иметь возможность заниматься тем, что нравится, — восемь, двенадцать часов в день, а не так, как сейчас: из последних сил. Писатель, к сожалению, не та работа, где платят за время, где есть оклад. Это все, конечно, риск, но... И еще: я хочу, чтоб меня слышали. Мне есть что сказать, я хочу говорить людям.

Но Юнна, кажется, уже не слушает меня.

— А откуда ты знаешь, — говорит она тревожно. — Сколько будешь добиваться? Сколько тебе нужно времени?

— Мне нужен год.

— Год? Почему?

— Потому, — отвечаю неопределенно. — Если сейчас будет ребенок, я стану рабом этого ребенка. Я вынужден буду всю жизнь прожить, только его обеспечивая. Должен буду поставить крест на себе.

— Но почему? — спрашивает Юнна, и в ее голосе мне слышится отчаяние.

— Вы же первая будете говорить: почему ты пишешь, когда ребенок орет? Почему ты пишешь, когда он голоден? Почему ты пишешь, когда ему нечего надеть? Если бы у нас были деньги, другое дело. Но у нас их нет. Поэтому пока у нас нет ребенка, у меня есть шанс, а потом не будет.

— Я не знаю, почему ты так думаешь, — опустошенно заключает Юнна.

— Это сейчас не знаете, а после будете знать. Когда рождается ребенок, мужчина перестает существовать для женщины. Она живет только интересами ребенка, только ради него. И муж нужен как приложение к ребенку. Как необходимое приложение, но оно должно функционировать не само по себе, а в определенном режиме.

— Да, понимаю, что для тебя это важно, — прерывает Юнна. — Но он не помешает!

— Я смотрел один фильм. Там был художник, который все время рисовал. Его картины никто не покупал и не хотел выставлять, они были никому не нужны, но он тратил на них время и хранил у себя дома. А у него была жена и несколько дочек, и им... Им, в общем, нечего было есть. Жили они очень скромно, потому что художник не работал, а только рисовал.

— Ну и к чему ты это? — Юнна начинает раздражаться.

— Да к тому! — продолжаю нервно. — И в минуты рассказа он приходит к жене и девочкам и клятвенно им обещает: больше не буду рисовать. Он берет такой большой портфель с бумагами и выходит на работу: разъезжает по офисам, предлагает покупать всякие вещи. Ну, это как менеджер по продажам, только это было давно, в прошлом. Это называлось коммивояжер. И он приходит в эти офисы, презентует продукцию, с ним заключают договоры, он получает какие-то деньги и пытается быть счастливым. И дети встречают его возле окна и кричат маме: «Ура, мамочка, наш папа больше никогда не будет рисовать».

— Да уж, — говорит Юнна упавшим голосом.

— Так проходит какое-то время. Однажды они заглядывают к нему в комнату и видят, что он опять стоит за своими картинами. И они плачут. А потом он уезжает на Таити, поселяется в каком-то диком племени и танцует с ними вокруг костра, живет среди пальм и всех их рисует.

Юнна смеется, но напряженно, натужно.

— Вот такие дела, — говорю. — Это вообще-то про Гогена фильм, один из нескольких про его биографию. Предназначение человека берет свое, предназначение, дело. Оно выше самого человека и сильнее его.

Хочется добавить: даже если оно бессмысленно, но сдерживаюсь. И вдруг замечаю, как Юнна плачет, отвернувшись от меня к бухте.

— А мне-то что делать? Мне ведь тянуть нельзя. Да и ребенок нужен. Ребенок на определенном этапе отношений необходим. Кто мы с тобой теперь — просто *socedi*?

— Нет, — говорю растерянно. — Почему?

— Ну а кто? Мы как парень и девушка, мы встречаемся, или что?

— Нет. Это школьные глупости все. Мы семья. Нам жениться скоро.

— Семья не может быть без ребенка! Ты обманывал меня, — наконец доходит и до этого. Я знал. — Семья не может быть без ребенка. А мне просто нельзя больше ждать!

Она отворачивается, и на этот раз кажется, что насовсем. Как бы не навсегда, думаю с тревогой. Мне самому уже противен разговор. Ну что же, думаю, я за человек? Зачем я все это начал?

— И потом, у тебя есть все эти книги, — говорит Юнна, со внезапной резкостью в голосе. — У тебя есть мечта, есть цель. А у меня что? Что, кроме этой ненавистной работы, и дома, где ты постоянно занят, где ты постоянно пишешь, или...

Она совсем рыдает, но старается взять себя в руки, утирается салфеткой.

— Ты стал нервным, раздражительным в Москве.

— Это жизнь такая, — пытаюсь перебить. — Жизнь — она давит.

— Так что же? Стоит ли нам вообще заводить детей? А играть свадьбу — зачем? Стоит ли нам вместе жить, а?! Стоит?

Опускаю голову. Да, насчет раздражительности она права. А насчет всего остального? Нам нужно собираться, ловить такси, ехать город. Не знаю, что еще сказать.

Вчера мне пришло письмо из литературного журнала: обещают напечатать повесть. Журнал серьезный, с именем, продается на станциях метро. А здесь, в Балаклаве, дует холодный ветер. Время близится к полночи.



ВЫСОТА

Почти семьсот страниц двенадцатым шрифтом. Плоды трудов, итоги изнуряющей работы. Передо мною — готовая книга, мой сборник повестей. И что теперь с ним делать? Как заставить все это ожить?

«Неужели ради этого ты рушишь фундамент своего счастья, предаешь женщину, которую выбрал, заставляешь страдать, мучиться? — говорил я себе. — Есть ли хоть какое-нибудь оправдание времени, потраченному на это? Целому году жизни. И еще один год планируешь убить на то, чтобы это куда-то приткнуть. А знаешь ли, сколько осталось жить?»

Чем больше ты пишешь, тем быстрее теряешь Юнну. С каждой новой задумкой, не отброшенной вовремя, с каждой новой строчкой она от тебя все дальше, и что самое страшное, ты отталкиваешь ее сам. Нет никого, кто у тебя бы ее отнял, даже литература не делает этого, потому что то, чем занимаешься ты, вряд ли имеет отношение к литературе. А время уходит, и этого времени больше никогда не будет. Того самого, человеческого времени жизни, которого не хватит перед последней чертой, когда будешь готов сделать вдох и попрощаться с миром, перейдя в другое состояние, где точно не будет важно, сколько ты опубликовал книг или получил премий».

Нет, а вдруг, *все-таки будет?* Это странная мысль, но вдруг все это потом трансформируется во что-то другое, чего я даже не представляю здесь, но что окажется невероятно полезным *по ту сторону*. А нынешняя жизнь нужна лишь для того, чтобы собрать здесь *этого* побольше, запастись?

Все возможно, отвечаю сам себе, но маловероятно. А то, что весь этот запас не пригодится тебе, пока ты еще *здесь*, совершенно точно. Неужели перед смертью ты реально будешь считать достижением, что в таком-то году опубликовался в журнале, а в таком-то выпустил книжку? Зато если проживешь всю

жизнь с одной женщиной и обеспечишь ее всем необходимым, будет хотя бы повод целовать холодный лоб, дотрагиваться до щеки.

Я не пытаюсь отрицать очевидное. Но успокаиваю себя: премии, книги, журналы — это тоже не самоцель, и мечтаю я не о них. Просто так все устроено, что на сегодня они единственный способ понять, оценить, подвести итог... не то, прав ты был или нет, выбрав этот путь в жизни, нет, однозначно *ты не был прав*. Но хотя бы совсем это зря или, может быть, не совсем?

После разговора в Балаклаве жизнь с Юнной стала нервной. Мы срывались, ругались, кричали, пили. Писать стало и вовсе невозможно: в атмосфере уныния, на руинах стремительно рушащейся семьи непросто сосредоточиться и придумывать несуществующие миры, жить чужими жизнями и чувствовать чужие чувства. И этот ребенок! Проклятый разговор испортил все. Уверенность женщины пошатнулась, и восстановить ее было нельзя, даже дав задний ход, откатив все к тому, что было, согласившись стать отцом *теперь*. Но я и не предпринимал таких попыток.

Юнна сказала, что у нас не будет свадьбы.

— Без ребенка никакого смысла нет, — повторяла она. — Вот когда будешь готов, тогда и нужно будет жениться.

Я был обязан настоять, взять ее за руку и просто потащить в загс. Высшая последовательность развития отношений, прописанная на небесах, была нарушена, и за это придется расплатиться. Никогда уже наша свадьба, если она случится, не будет такой органичной, такой своевременной. Она будет куском, вырванным из одного времени и наспех пришитым к другому, нелепой заплаткой на наших судьбах.

Вместо праздничного, искрящегося доброго «Горько!» мне было горько по-настоящему. Чтобы сгладить этот день, когда мы забирали заявление, отправились на телебашню, в высотный ресторан «Небо».

Слегка отпустило. Мы наблюдаем с высоты на проезжающую в черноте московского вечера электричку, похожую на светящегося пунктирного червячка, и впервые после разговора искренне, по-доброму смеемся. Я обнимаю Юнну и смотрю на экран ее телефона:

— Да, электричка прикольная! А вон монорельс, — говорю.

— Где?

Пытаюсь объяснить, но в это время понимаю, что монорельс не впечатляет. Тускло, мрачно, движется один фонарик, ну и что? Недаром его скоро разберут.

— Как-то совсем твой монорельс не видно, — подтверждает Юнна. — А электричка классная вообще.

Она смеется, ее смех такой счастливый, заразительный! Если будете на телебашне, посмотрите с высоты на электричку.

Где-то там же, внизу, — и автобусы, и маршрутки; но они такие мелкие, что их и не видно совсем. На мгновение чудится, что я вижу на повороте нашу, двести тринадцатую: сколько раз ездили на ней вместе, и было так удобно для работы, для прогулок. Но на днях маршрут изменили, и номер 213 больше не ездит до Трубной. Мы не пользуемся им теперь.

— Смотри, — Юнна дергает меня за рукав. — Облака!



ПОКА НЕ СДЕЛАЕШЬ ВЫБОР

Вчера кот разбил вазу с бабочками, что я дарил в Петрограде. Собрали осколки, поругали кота. Вынес мусор. В доме совсем не осталось ничего петроградского, подумал я. Но потом вспомнил.

Еще в прошлом году на благотворительном рыночке у метро я нашел сувенир со странным названием Хочунья. Она похожа на страшную матрешку без глаз. По замыслу тех, кто придумал Хочунью, ей нужно прорисовать один глаз и загадать желание. А когда желание исполнится, можно смело рисовать второй.

Не знаю чем, но меня зацепила матрешка, и я привез ее Юнне. Она во все это верила: в приметы, сказки, лунные календари. Из всех сувениров я выбрал зеркальце с изображением Хочунья. И вот сегодня, протирая пыль, я вдруг ее увидел — на Юнниной полочке с разным мягким зверьем. Вдоль стен зеркальца были старательно написанные буквы:

«Хочу, чтобы я смогла забеременеть, выносить и родить здорового ребенка».

Меня пришибло, сердце сжалось. Как просто здесь было все, как отчаянно! Юнна доверила ей, бессловесной безглазой матрешке, всю суть себя, все самое дорогое в себе.

— Вы моя самая дорогая в этой жизни, — прошептал я, — родная.

И я решил *развернуться* к Юнне. Решил не говорить ей ничего, не оправдываться, не обещать, как прежде. Но принял установку для себя: забывать о книжках, журналах как можно скорее, стирать этот год из своей памяти, будто его и не было, и начинать, наконец, жить. Дышать.

Но проходили дни, и как бы ни убеждал себя, необходимость выбора между писательством и личной жизнью никуда не исчезала. Вся эта ситуация напоминала старую компьютерную игру, которую можно пройти за воинов-государственников, бандитов-наемников или магов. У каждого пути свои преимущества и недостатки, особенно у последнего, где есть только риск и ничего не понятно. И пока не сделаешь выбор, ничего не добьешься. Ты можешь пройти игру лишь за одного, и, выбрав однажды, не сможешь переиграть. Но и это не самое страшное. В течение всей игры тебя не будет покидать ощущение, что ты мог сохранить в одном персонаже черты всех предложенных вариантов — просто не знал, как это можно сделать. Не знал потому, что игра этого не предусматривает. А главное, о чем игра вообще молчит, — что даже пройдя ее, ты ни в одном случае не окажешься счастливым.

Сегодня мы ложимся спать, перекинувшись за день парой не значащих слов. Я думаю о своих персонажах. Думаю, что дописать, чтобы эффектнее читалась финальная сцена того же «Буйного кота»; да, впрочем, что толку, все равно уже отправил на премию, и роман этот валяется в чьей-нибудь мусорной корзине, если ее забыли очистить. Так что поздно, успокаиваю себя. И перед тем, как провалиться в сон, слышу тихий голос; я совсем уже и забыл, что *не один здесь*: рядом обнимает подушку Юнна.

— Как прошел день, родной?

И мне хочется плакать, хочется истерить, биться о стену лбом и кричать, кричать неостановимо. Но я ничего не скажу. Повернусь, поцелую ее в нос. Усну.

Завтрашним утром у меня появится новость. Она покажется невероятной; ведь если все так, действительно, значит, мир бесповоротно сошел с ума.

— Я попал в короткий список премии «Дебют». Пятнадцать лучших молодых писателей России.

Д

ТЕМНАЯ СТОРОНА

Мне слава ни к чему. Слава нужна мне была не для того, чтобы почувствовать себя выше других, а чтобы почувствовать себя равным другим.

Е. Шварц, из дневников



КОРПОРАЦИЯ «ЛИТЕРАТУРА»

Раньше я не писал о себе, кроме пары рассказов. Это не захватывает. На пресс-конференции «Дебюта» председатель Колбасинский отметил, что авторы стали меньше писать о себе, и это его радует. Я не знал, что и думать: многие ведь пишут о себе; так что же, у них теперь нет шансов, потому что это не нравится Колбасинскому? И все же, «Буйный кот», с которым я оказался в длинном списке, написан не о себе. У меня определенно больше шансов, вот какой я сделал вывод. Но попадание в финал меня не занимало; то, что я в длинном списке, уже круто, о чем еще можно мечтать? И все же, пока у участников длинного списка из Уфы, Твери и прочих регионов вовсю брали интервью телеканалы и газеты, поздравляя земляков, на меня всем было наплевать. По прихоти организаторов «Дебюта» я представлял Петроград, хотя и заявлялся от Москвы; надменному городу было совсем не интересно, что в нем появился молодой автор. Уверен, что и с Москвой случилось бы то же. Нужно было заявляться от Уфы.

Так почему я решил наконец написать о себе? Эта повесть — не ода лузерству и отчаянию, пускай и пропитана их ядами.

Главное, что она может быть полезна тем, кто, открыв рот, будто птенец, смотрит снизу вверх на русскую литературу, на нынешних ее жрецов. Стать писателем значит *получить право говорить*. Каждый распорядится им по-своему, но оно нужно писателю для того, чтобы его голосом говорили другие, те, у кого права голоса нет или мало, чья единственная возможность быть услышанными — внимание писателя. Писатель, который говорит только о собственных произведениях или жонглирует знанием стилей и течений, не пользуется этим замечательным инструментом, игнорируя свое предназначение. Он вправе так распорядиться своей возможностью, потому что добился ее. Но появление подобного писателя для остальных будто холостой выстрел. Премия «Дебют», проводя сакральный процесс обращения никому не известного человека с улицы в писателя, не предоставляет таких широких возможностей: в полуминутные речи уместаются лишь банальности. Определяя, кому выдать счастливый билет в литературу, а кого вышвырнуть за борт, организаторы дают высказаться только победителям. Победенные, приехав порою за тысячи километров, стоят статистами, истуканами, призванными оттенять чужое счастье. Они не заслуживают права говорить, что означает: им нужно либо работать дальше, что, если рассмотреть историю премии, никогда и ни к чему не приводило, либо сдаваться.

Молодые авторы, о которых говорю я, на самом деле не совсем «молодые авторы». Точнее, не все. Это не те, кто сочиняет в уюте просторной квартиры, укрывшись пледом, у которых родители бизнесмены, инженеры или художники, жизнь гарантирована и ничто не мешает забавляться словами. Нет, мои молодые авторы практически неотличимы от гопников, только это гопники в силу «бытия, определяющего сознание». Это не осознанные маргиналы, выбирающие позу, это обычные люди из обыкновенных семей и домов, обреченные на скучную жизнь, предающиеся доступным им развлечениям вроде

алкоголя и прогулок по району. Таких людей не так уж мало, понаблюдав за ними или даже пообщавшись, вы, вероятнее всего, не разглядите в них писателей, они не признаются в этой мечте и самим себе, потому что понимают: писательство, литература — это другой мир, в котором их не примут. Они работают на незатейливых работах вроде мерчендайзера или торгового представителя, а то и вовсе грузчика, их интересы незамысловаты, вкусы просты что в музыке, что в словесности. У них просто нет времени и возможности развивать вкус, надо жить, решать повседневные заботы, вырваться из которых им может помочь только чудо. Но эти люди, как никто другой, знают, что чудес не бывает.

Они, представляете, пишут. И дают почитать друг другу, и крайне редко организуют какой-нибудь кружок, самиздат или любительский плохонький сайт. Кто-то любит курить, кто-то ищет спасения в играх, кто-то смотрит все подряд кино, ну а эти люди проводят время вот так. Я и сам из этой среды. Мы выдумывали собственные «премии», голосовали на лифтовых площадках домов возле теплой батареи, потому что пойти было больше некуда, и вручали их друг другу вместе с призами в виде бутылки пива и сухарей. Мы не могли допустить для себя мысль, что когда-нибудь кто-то из нас может получить *настоящую* премию. Я не боюсь быть осмеянным, если скажу: эти люди еще никогда не проникали в литературу. Я взял на себя ответственность представлять этот класс людей — *обывателей*, главный объект ненависти творческих персон. Эти люди были за мной, когда я готовился идти на вручение. Даже если мы проиграем, то не будем в этом одни и уравниемся в проигрыше с профессиональным, чистокровным литератором, одним из наших соперников.

Так я думал, ведь победитель может быть только один.

Деньги интересовали куда меньше, но интересовали. Я мог бы возродить из пепла свадьбу, а большую часть отправить матери;

ей бы хватило. Я старался не думать о деньгах, а вот она не могла. В разговорах со мной сквозила надежда, и я отвечал, как умел и как мог: «Что-нибудь придумаем». Знаю, в день награждения она будет болеть не за меня, а за деньги. Я буду единственным в зале, чье сознание определено тем бытием, о существовании которого никто из этих людей не хотел бы знать.

«Дебют» никогда не ошибается в выборе — все, кого награждают премией, потом определяют будущее литературы, сказал в интервью один известный писатель.

— Неужели на этот раз ошибется? — нервно думаю я. Победа моих соперников станет победой государств, которые они представляют, победой критиков и редакторов, которые их поддерживают, и даже координатора премии Сладниковой, при журналистах желавшей успеха одному из них. Моя победа станет победой людей, у которых нет в жизни надежды: от бедных моих родителей до молодых неприкаянных авторов, болтающих по дворам и скамейкам огромной страны.

Я написал черновик речи, которую скажу, если мне разрешат открыть рот, — оргкомитет заставил. Он глупый, более того — самоубийственный. Знаю, что из-за него меня не полюбят, что маститые редакторы из жюри, прочитав, рассмеются:

— И этого дебила мы взяли в короткий список!

И, споря в последний вечер, кому отдать все-таки премию, будут шутить, разряжая усталость:

— Ну не Стократову же!

Но сочини я что-то другое, поступил бы неправильно. Нажимаю на кнопку «Отправить», и письмо улетает Сладниковой.

Я не литературный человек, хотя, разумеется, литературу люблю. Я обыкновенный обыватель, каких много, и с какими окололитературная публика обычно не церемонится. Только пишущий. Иногда читаю гороскопы, смеюсь над видео с домашними животными, люблю пятницы и смотрю сериал

«Кухня» по вечерам. Мой литературный процесс — это чтение чужих книг и написание собственных. Когда произведение готово, начинается в чистом виде спорт, соревнование. Я ознакомился с творчеством соперников в меру его доступности, и отношусь к ним с уважением. Но меня, как любого нормального мужчину, устраивает только победа.

«Буйный кот» — один из романов, составляющих написанную мной книгу «Свобода», целью которой я ставил рассмотреть это понятие, для многих неоспоримое и однозначное, в разных ракурсах. Когда я работал, совершенно не думал ни о каких премиях и публикациях, и только потом начал всем этим заниматься. Вообще же, мне хочется писать что-то светлое, что радовало бы людей и развлекало, например помогало расслабиться в конце тяжелого дня. Но мой мозг и мое мировосприятие устроены таким образом, что получают совсем другие вещи. В этом, наверное, есть определенный внутренний конфликт. Надеюсь, что когда-нибудь напишу произведение легкое и жизнеутверждающее. Это будет следующая ступень мастерства.

Не считаю себя интеллигентом и убежден, что писатель не обязан им быть. Как и читатель. Наверное, только критик должен быть интеллигентом. У меня нет литературных манифестов, и я не собираюсь заниматься их сочинением. Я благодарен своим родителям, любимой, Господу Богу и городу Москве, и считаю эти слова важнее любых воззваний. Литература — один из видов человеческой деятельности, в котором, так же, как и в других, люди стремятся добиться успеха. И здесь работают все те же законы, что в остальной жизни. А учитывая стремительно накаляющуюся обстановку в мире и в головах, она вообще скоро может отойти на задний план.

Я знаю, что в каждом городе моей страны и на окраинах, и в центрах живут молодые люди, которые хотят чего-то добиться. В том числе многие — стать писателями. Это нормально для молодых людей — мечтать о писательстве. Им очень часто

тяжело и не хватает сил. Не хватает решительности, терпения, работоспособности. Стойкости, чтобы переносить удары окружающего мира, который им не нравится. Способности пойти с ним на компромисс, когда это важно. Желания взглянуть на него — да и на себя — по-новому. А часто просто не хватает друзей, не хватает любви.

Я обращаюсь к этим людям. К каждому, кто страдает от одиночества, сомнений, мелких неудач, кто чувствует себя лишним, испытывает страх, кто убежден, что жизнь безрадостна, а счастье никогда не наступит. Вас мучает неудовлетворенность от того, что приходится заниматься совсем не теми делами, для которых вы предназначены, а когда эти другие дела заканчиваются, на писательство уже не остается сил; да и зачем? — думает молодой человек: ведь никто никогда не поймет, не оценит, не опубликует. Я хочу сказать им: ребята, верьте в свою мечту и работайте. Будет очень тяжело. Но не прекращайте работать и не прекращайте верить.

Это чувство, когда то, что ты делаешь, кому-то нравится и кто-то его оценивает столь высоко, бесценно. Желаю каждому его испытать. Никогда, никогда не сдавайтесь! Все получится. Все будет.

Литература жестока — она как крупная корпорация в маленьком городке, куда все стремятся устроиться, чтоб убежать от отчаяния, но попадут немногие. А с теми, кто не попадет, даже не станут разговаривать. Нет вас, ребята. Не существует вас.



КОСТА-РИКА, КИЕВ, ТЕЛЬ-АВИВ

С недавних пор я хожу в тренажерный зал. Не потому, что настраиваюсь на вручение как на последний бой. Ситуацию, когда исход, решение — победа или позор — никак от тебя

не зависит, а зависит от решения людей, которых ты даже не знаешь, нельзя назвать *боем*. Понимание, что ты не можешь что-то изменить, повлиять на решение, сильно нервирует. Но занимаясь на тренажерах, я то и дело вспоминаю о «Дебюте». Предстоящий финал занимает все мысли. Попадание в длинный список из пятнадцати фамилий воспринималось мною как случайность, нелепость, сбой в программе. Сейчас, изучив всех, кого я обошел, с удивлением заметил, что у некоторых изданы книги, и даже модные издания печатают на них рецензии, берут интервью. Короткий список — это уже уровень, претензия на победу, в моем случае претензия на то, чтобы на тридцать первом году жизни я имел право, наконец, назвать себя писателем. Я имел право начать существовать для литературы, возникнуть в ней. Мои конкуренты из Киева и Тель-Авива уже давно существовали в ней. Они были писателями, и вручение премии им стало бы признанием заслуг, но никак не инициацией, никак не посвящением в писатели, не рукой помощи, протянутой молодому автору.

Представляю выход на сцену. Я внимательно смотрел записи прошлых лет и понял, как это будет тревожно — обращенные на тебя глаза огромного зала. Понимаю, что, если проиграю, нужно будет время, чтобы от этого отойти. В любом случае трагедии не случится, так что это время не затянется. Но другая, леденящая душу сторона моей личности напоминает:

— Это твой единственный шанс в жизни, он никогда не повторится.

Другого «Буйного кота» я не напишу, а если и напишу, он будет повторением, а за повторение даже в не включат в длинный список. Финал «Дебюта» — это максимум, которого я мог достигнуть в жизни. Я приблизился к вершине, которая сама по себе не может быть самоцелью и не может восприниматься как абсолютная победа. Но она поможет сделать шаг в другое измерение, где жить, творить и мыслить можно будет уже на совсем другом

уровне. Если меня перед последним шагом сбросят с этой вершины, мне уже никогда не подняться к ней. Я чувствую это каждой клеткой, и с этим чувством в меня входит ледяная вечность, она замораживает мой организм, и кажется, что еще пара дней этого осознания — и я превращусь в несуразный кусок льда, который рассыплется от прикосновения пальцем.

В этом году прошел чемпионат мира по футболу, и в нем участвовала сборная Коста-Рики, которая не добивалась в футболе никаких успехов, и вдруг вышла в четвертьфинал. Такие команды-сенсации, футбольные карлики приближаются к полуфиналу вплотную, выворачиваются наизнанку, играют на пределе мастерства. Но почему-то попадание в восьмерку сильнейших становится для них заколдованным результатом, выше которого не прыгнуть, что бы они ни делали, и в одну вторую проходят только те команды, которых там ждут. На одной четвертой сказка всегда заканчивается, и карета, домчавшая их до этой стадии, в самый последний момент, по решению судьи или пенальти, обращается тыквой. Для зрителей на следующем турнире будет новая Коста-Рика, но для игроков тот обидный проигрыш так и останется высшим достижением в истории. Я боюсь остаться Коста-Рикой в этом чемпионате по литературе. В последние дни чувствую, как при мысли о «Дебюте» во мне просыпается страх. Это страх смерти.



К СОЖАЛЕНИЮ, ФИНАЛА Я НЕ ЗНАЮ

Изучаю своих соперников. Конкурентов. Практически недругов — один из них, вполне возможно, перекроет мне дорогу к счастью, убьет хрупкую мечту стать писателем, когда-нибудь иметь голос. В то же время это мои коллеги. Парадокс. Заочное знакомство не приносит радости. И не потому, что чувствую их силу, как раз наоборот.

Я в номинации «Крупная проза». Рядом с людьми, у которых есть все, что нужно для жизни, — израильским программистом, киевским арабистом. Медковский, арабист, автор романа «Попугай», — оригинал. Он играет словами и смыслами. Он из тех авторов, понимаю я, чья жизнь является продолжением литературы, кто создает не просто прозу, а себя как голограмму, проекцию созданного собою мира. С такими всегда тяжело; посмотрев презентацию Медковского на одном из прежних «Дебютов», я убедился в этом. Хотя и несет он чушь, но девочкам нравится, а тем редакторам и критикам, для которых литература — это в первую очередь жест, поза, перформанс, и подавно. Разумно предположить, что именно такому автору дадут слово, потому что именно его слово украсит премию, а никак не манифестация обывательства. Но проза киевлянина меня разочаровывает. Романа-финалиста в свободном доступе я не нахожу, только маленький отрывок про то, как он бухал с каким-то послом в Сирии. Со страницы на сайте «Дебюта» попадаю на старый рассказ Медковского. Объекты повествования — космические члены и космические задницы, и между ними разворачивается некая космическая футурама. Закончится вся она, как и водится, тем, что все накрывается звездой.

Господи, думаю я, все это было в литературе, и было в таких количествах! Лет пятнадцать назад оно вызвало бы любопытство, но не сейчас. Вспоминаю, что это старый рассказ, а еще вспоминаю свое раннее, то, что писал в шестнадцать-семнадцать. Там было жестче, и концентрация мата, извращенных убийств и тех же самых елдаков на страницу превышала показатель Медковского в несколько раз. Так что кое-чем мы с ним вполне могли бы мериться, возникни вдруг необходимость. Правда, я свои прячу, а он нет. Значит, считает литературой.

О программисте Догоренко мне не удалось узнать ничего. Кроме того, что в Израиле его вроде как знают. Но благодаря

чему, как давно знают, неясно. У автора есть страница на прозе. ру, и там даже выложена первая глава его «Гвоздя», который, возможно, и будет вбит в мою надежду стать писателем, а заодно и в Медковского-попугая. Но не буду торопить время — бывает, гвозди ломаются, гнутся, бывает, у них неожиданно отваливаются шляпки, если это не гвозди, сделанные из людей. К сожалению, понять это не представляется возможным — в первой главе никаких объяснений происхождению гвоздя не дается. Но я и без этого помню, что гвоздь крепкий, ведь именно его Сладникова назвала лучшим в крупной прозе. Мне нравится, как написан «Гвоздь»: гладко, без запиночки, читать его — одно удовольствие, словно реченька течет. Но о чем он, зачем? Ну есть неуправляемый солдат. Не чтит устав, не уважает дедовщину, одинокий волк. Чтобы не мешал и не вносил смуту, его отправляют на Луну, но и там настолько неуправляем, что его присутствию никто не рад. Неужели роман завершится как какой-нибудь «Интерстеллар»? Ведь только это может оправдать его высокое признание. К сожалению, финала я не знаю.

Зато знаю другое. Мой «Буйный кот», его герой и история — такие, каких вообще никогда не было и не будет. Это не богато написанный и уж тем более не гениальный роман — но в том, что он уникальный, у меня нет никаких сомнений. Я готов лишь признать, что он читается сложнее, чем тот же «Гвоздь», но это потому, что у меня нет времени, чтобы сесть и грамотно отредактировать. Жизнь круглосуточно заставляет меня заниматься тем, что мне не нужно, не интересно и не несет никаких перспектив, но позволяет *выжить, прожить, пере-жить*. Выкроить у этой жизни пятнадцать минут в день, чтобы написать что-то — счастье. «Буйный кот» — это натянутый нерв, выду-маный, но *прожитый, пере-житый*, он написан кровью — в прямом смысле слова, он написан на изломе и, черт возьми, он должен же когда-нибудь конвертироваться во что-то еще,

кrome бесконечного воспроизводства самого себя. Вспоминаю, что «дебютантов» издают за рубежом. Для иностранцев мой «Буйный кот» будет куда интереснее, самонадеянно думаю я: в нем больше *русской литературы*.

— Да кто ты такой, клоун и гопник с окраинной скамейки, еще вчера ты работал грузчиком, а сегодня судишь о работах профессионалов, озаренных талантом, наделенных мастерством, и позволяешь себе принижать их, смотреть на них свысока?

Но ничего не могу поделать — я задвинул в себе мысли о политике, личностях конкурентов, их жизненных и литературных судьбах, заслугах, опыте и группах поддержки. Я сравниваю только то, о чем мы пишем, и, наверное, зачем. И никак не могу заткнуть себя:

— Проиграть *кому-то из них* будет обидно.



ПЛОХАЯ ПРИМЕТА

Юнна уехала по работе, подыхаю с тоски. Все чаще чувствую, как не хватает друзей, элементарного общения. Столько лет гонялся за личной жизнью, а теперь ее стало слишком много. Всего лишь выпил пива и ощутил, что хочу с кем-то встретиться, просто посидеть, поговорить о жизни. Но в этом огромном городе мне было не с кем, да и нужно было кормить кота. Вот так и сидел с котом, пил, пока пиво не кончилось. Пришел в магазин за новым. Заодно решил взять игристого. Напиток победы на случай моего успеха, он, конечно же, должен быть в холодильнике, потому что в то время, когда закончится церемония, алкоголь уже не продадут. Главное — не выпить его сегодня, когда снова кончится пиво. Плохая примета. Возвращаюсь домой подвыпивший, и тут — как некстати! — звонит мать.

— Кот умер, — говорит она и плачет. Это другой кот, не тот, с которым я пил. А который остался с родителями, которого я помнил с детства. Ну, как помнил? Временами вспоминал.

Я молчу, не зная, что и сказать. Конечно, «что-нибудь придумаем» здесь неуместно, а я привык всегда так говорить. Бедные мои родители, думаю я всякий раз, разговаривая с ними, как же у них мало поводов для радости! Я, если честно, уже не припомню, когда в последний раз они случались.

У нас было три кота, и все поочередно умерли за этот год. Но последний, Моцарт, он был особенный. Практически всю свою жизнь он был с нами, с тех пор как его принес на руках отец в день моего семилетия.

— Это Моцарт, — просто сказал он. Кот продавался в одной клетке с сенбернаром, а тогда был популярен фильм «Бетховен», в котором именем композитора назвали собаку. Такая вот простая аналогия, так закрепилось имя. Моцарт дожил до двадцати трех лет и очень со мною дружил. Я, конечно, не скажу родителям, как тяжело мне самому, а отделаюсь какой-нибудь ерундой, и мы вернемся спустя пару фраз к клубку наших вечных и неразрешимых проблем.

— А у тебя от кредита хоть что-то осталось? — осторожно спросит мать. Речь, конечно, о том, что на свадьбу.

Настроение, несмотря на пиво, окончательно портится. Кредит был профукан, в чем я и признаюсь. Как русский человек из анекдотов, я профукал его понемножечку, даже не понял как. Не на пиво, конечно. Но вспомнить, на что же конкретно, так и не удастся. А отдавать еще четыре года!

Единственный шанс все-таки сыграть свадьбу — получить эту чертову премию, со злобой думаю я, положив трубку. Родителям станет спокойнее, может, немного порадуются. Какое же это незнакомое нашей семье чувство! Юнна — она пока что совсем не такая, но она тоже мрачнеет, живя со мной, становится раздражительной, депрессивной. Кольцо жизни, вечно

сжимающее меня и не дающее сделать вдох глубже и чуть-чуть свободнее, чем требуется, чтобы не сдохнуть, это кольцо теперь сжимает и ее.

Но, несмотря на это, все сильнее убеждаю себя, что проиграть — совершенно не страшно. Собственно, я уже дома и принял новый стакан. И когда иду в уборную на работе или в офисную столовку, я так же говорю себе: ничего страшного не случится, будь к этому просто готов. Победитель может быть только один, это проигравших много — говорю я себе. Всегда было так, и в этом есть справедливость. Да, я верю в победу, но готовлюсь и к поражению, и даже представляю его. Вот назовут фамилию Медковский или Догоренко — и я выслушаю речь кого-нибудь из них, поаплодирую, спущусь со сцены и с достоинством сяду на место. Досмотрю церемонию, а потом пойду знакомиться с людьми, говорить с ними о чем-то, заводить связи. Без связей же, вроде как, никуда?

Только с одним пока не определился: брать ли Юнну? Ведь ей там будет не интересно, да и других дел полно. Но как она будет горда, если боги литературы выберут меня! Будет ли еще у этой женщины повод гордиться мною? Надо предупредить, что там возможно всякое. Литераторы — публика неоднородная, случись что, и бедная Юнна будет шокирована. Это же не утреннее совещание менеджеров, как-никак. Что-то я совсем забыл о своей Юнне, а она, между прочим, единственная; ведь именно так ее имя звучит в переводе. Я, кажется, говорил.



ЧТОБЫ ЭТО КОГДА-НИБУДЬ КОНЧИЛОСЬ

— Господи! Вся моя жизнь противоречит литературной мечте, а не способствует ей, не помогает. Мне ничего не нужно, кроме возможности заниматься этим, посвятить себя, свое время! Чтобы с утра не думать о том, что нужно куда-то бежать, чтобы

выжить, а сесть и писать. И думать, работать над словами, совершенствовать их — учиться, в конце концов, и читать других. Потому что некогда, Господи, жить совершенно некогда! А жить для меня значит писать. Почему? Я не знаю. Это вопрос к тебе.

Что еще сказать, я не знал. Это была самая неуверенная и неудачная из моих молитв. Но продолжал с упорством:

— Если я получу эти деньги, то отдам родителям и сыграю скромную свадьбу. А потом уволюсь с работы и за два месяца напишу все, о чем мечтал. На один скромненький рассказик, который пишется за день, у меня уходят месяцы! Как я хочу, чтобы это когда-нибудь кончилось, Господи! Чтобы когда-нибудь кончилось. Всю мою жизнь мне не хватало малого — угла и тишины, чтобы писать там.

В храме светло и практически нет людей. Можно бродить по нему, разглядывать иконы, говорить с ними. Я ставлю свечку Господу, Богородице и подхожу к Сергию Радонежскому. Долго стою и молчу. Когда кажется, что больше не стоит произносить ни слова, я почему-то, будто бы против своей воли, тихо говорю:

— А если я когда-нибудь добьюсь в этом деле успеха, я стану помогать людям — кому чем смогу, тем, кому сложно и до кого нет дела другим. А еще молодым людям, авторам — которые так же, как я сейчас, пытаются найти свой шанс, какую-то лазейку. Я стану одной из них, Господи!

Когда я ухожу, мне слышится, будто кто-то говорит тихо: «Что-нибудь придумаем». И этот голос очень похож на мой.

Пить больше невозможно, но надо же что-то делать! Вчера я завершил все дела на работе и ушел на неделю в отпуск. Пойду на вручение с чистыми мыслями и здоровым духом — решаю ходить каждый день в тренажерку и поменьше думать о премии. Все, что можно, уже отдумано, я выхожу на финишную прямую, и главное сейчас — просто задержать дыхание и зажмурить глаза. Все скоро кончится. Если кончится плохо, у меня будет три дня, чтобы прийти в себя.

Мне предстоят еще кое-какие дела. Изучаю, какой лунный день будет в день финала, что обещают звезды Ракам и Крысам на этот день. Пытаюсь заглянуть в будущее единственным доступным способом, чего не делал, наверное, никогда. Хотя Юнна просматривает гороскопы и сверяется с лунными днями, я всегда относился к этой привычке равнодушно. Обещают вроде хорошее, но как-то расплывчато: прямым текстом, что я получу литературную премию, никто не сообщает, даже Глоба. Пытаюсь вычислить свои шансы на победу математическим и логическим, как мне кажется, а скорее — просто интуитивным способом. Мне представляется, что на меня работает тот факт, что я числюсь в коротком списке под номером два. Я как будто незаметный, посередке, а потом в нужный момент вдруг вынырну, изящно оттолкнув локтями соперников, и получу свой приз. Меня забавляет и то, как расположены в списке наши фамилии: между Д и М, например, восемь букв, и между М и С только четыре. Что это значит, я, правда, не понимаю, но почему-то кажется, что и это должно работать на меня.

Изучаю Колбасинского, его жизнь, творчество и интервью, пытаюсь понять, может ли мой «Буйный кот» хоть как-то в нем отозваться, совпадут ли переживания, будут ли они ему понятны. Мне кажется, то, что Догоренко отметила Сладникова, вполне может сработать против него. С Медковским сложнее, во-первых, он уже участвовал в «Дебюте», и не раз, а это означает: шансов у него больше, когда-нибудь должны дать! Под него даже специальную номинацию выдумывали, человек непростой. А во-вторых, он, конечно, из Киева, и организаторы просто могут захотеть сделать реверанс в сторону этого города. Правда, украинцы есть и в других номинациях. Блуждая по страницам Медковского в социальных сетях, не нахожу никаких свидетельств политики. Правда, это ничего не меняет, куда важнее отношение к ней жюри. Пытаюсь найти хоть один фактор, который играл бы не против кого-то,

а за меня, и не нахожу такого. Ну, разве что жюри решит поступить совсем нелогично, так, как от него не ждут. То есть воплотить в жизнь миссию премии в чистом, концентрированном виде: поддержать совершенно нового, никому не известного автора, дать ему жизнь. Иными словами, я попросту жду чуда.



Я ХОЧУ БЫТЬ ПИСАТЕЛЕМ. ВТОРОЙ РАЗГОВОР С МОСКВОЙ

«Дебют» оплатил финалистам дорогу до Москвы и проживание в гостинице. Несмотря на то, что я заявлен как петроградский автор, моя дорога займет гораздо меньше времени и средств: достаточно доехать на метро «Киевская», а затем пройти по широкому мосту через Москву-реку в сторону МИДа, и там, в бизнес-зале современного отеля, меня ждет чудесная встреча с литературой. Так что на меня премия не потратит ни копейки, и если я проиграю, то даже в финансовых отчетах организаторов не останется никакого упоминания обо мне.

Иду по мосту от «Киевской» и вдыхаю холодный воздух. В моем кармане смятая бумажка, которую написал сегодня: короткий вариант речи, все самое главное, что хочу сказать за полминуты. Повторяю эти слова про себя, я их помню, но, конечно, если окажусь на сцене, они сразу же все забудутся, исчезнут. Я не знаю, как это — быть победителем, никогда и нигде им не был, но, наверное, это когда очень мало слов. А потому, если выйду на сцену, если окажусь победителем и мне нужно будет говорить, я достану ее, разверну и прочитаю:

Я бы хотел обратиться к людям, скорее всего, их нет в зале, они сидят по квартирам или дворам моей огромной страны и очень хотят чего-то добиться. В том числе многие — стать писателями. Им очень часто тяжело и не хватает сил. Не хватает

решительности, терпения, работоспособности. Стойкости. Им не нравится мир. А часто просто не хватает друзей, не хватает любви.

Я обращаюсь к каждому, кто страдает от одиночества, сомнений, мелких неудач, кто чувствует себя лишним, испытывает страх, кто убежден, что жизнь безрадостна, а счастье никогда не наступит.

Кого мучает неудовлетворенность от того, что приходится заниматься совсем не теми делами, для которых он предназначен, а когда эти другие дела заканчиваются, на писательство уже не остается сил; да и зачем? — думает молодой человек: ведь никто никогда не поймет, не оценит, не опубликует. Я хочу сказать им: ребята, верьте в свою мечту и работайте. Будет очень тяжело. Но не прекращайте работать и не прекращайте верить.

Вчера я попал в хоровод снега. Мне казалось, что закручусь сейчас с ним и взлечу к едва различимым огням фонарей и окон последних этажей. Всегда оживленная, улица, где я ожидал транспорт, чтобы добраться до дома, замерла, укутанная снегом, и мне вдруг показалось, что я где-то в глубоком детстве. Только там были возможны такое умиротворение, такая красота. Мой транспорт никак не шел, да и автомобилей не было, как будто в подтверждение догадки: ведь в детстве было гораздо меньше машин, и даже в этом городе. Я стоял словно посреди центральной улицы маленького городка, только ночью, и мимо меня проходили припозднившиеся пары и одинокие прохожие. И мне уже было все равно, приедет ли транспорт, хотелось только, чтобы это не заканчивалось, чтобы наваждение не проходило, не гасли эти размытые желтые фонари и не прекращался снег. Застыв в этой иллюзии, я внезапно спросил себя:

— Вдруг это знак? Знак, который дают тебе свыше, или из прошлого, или это литератор в тебе, спящий в обычной

жизни, проснулся и, прокашлявшись, тихо шепнул: завтра все будет хорошо?

Проснувшись, я выпил чаю — кофе сильно действует на нервы, и после него может возникнуть тревога на весь оставшийся день — и отправился в зал. Я старался не думать о премии, но в перерывах между подходами вновь вспоминал свою речь, вызубренную наизусть, вспоминал счастливые *знаки и предсказания*, которые свидетельствовали косвенно, что победить должен был я. После тренировки вдруг обнаружил, что все белье мокрое, и срочно побеждал в магазины за свежим. Расслабленно, без нервов добраться не получится, злился я: теперь придется спешить. Выбирать белье в магазине перед главным событием жизни — это должно быть смешно. Но мне было не до смеха.

Теперь, взглянув на часы, я понял, что успеваю, и громко выдохнул. Оставалось десять минут, ровно на то, чтобы перейти Бородинский мост и затем дорогу. Сколько уже пытаюсь избавиться от привычки никогда не смотреть на часы, если спешу — вот посмотрел бы в метро, и не волновался бы все это время! Впрочем, сейчас-то поводов для волнения хватит.

Останавливаюсь на середине моста и смотрю на Москву. Где-то вдалеке здание Белого дома, на него, наверное, заглядывают сейчас приезжие, которые вынырнули из черного метро на соседний мост, и скоро опять сгинут в подземелье, подъедут к станции, помчатся по своим делам. На величественных зданиях прошлого вывески настоящего: «Сбербанк», «Открытие». Подо мною вода, которой ничего не надо, просто течь. Как и жизни. Это люди, которым все время что-то надо, просят этого у жизни, стоя возле воды. Так и я. Обращаю взгляд вдаль, но не к Белому дому, не к мосту с электричками, а просто куда-то — где, как мне кажется, сама Москва.

— Москва, я никогда не просил тебя. Ни о чем. Я просто жил и любил тебя, и все это время, что я здесь, мне было хорошо. И когда у меня все получится, я хотел бы жить здесь и дальше.

Мне больше никуда не надо, Москва! Я хотел бы славить тебя и приумножать богатства твои. Я работал здесь не покладая рук все эти годы, это правда. Я не приехал прожигателем жизни. У меня есть мечта и цель. И любовь. Я не один из тех, кто сваливает к себе в далекие города или в чужие страны, своровав у тебя побольше. Я восхищен тобой и влюблен в тебя. Ты научила меня работать, ты научила меня ждать, жить и действовать. Ты научила меня быть счастливым, чувствовать и понимать, что такое есть счастье. Но сейчас я обращаюсь к тебе и прошу, Москва. То, что будет сегодня, куда я иду, где через несколько минут буду, для меня очень важно. И я не просто прошу это, руководствуясь своим капризом. Я заслужил это, Москва. И заработал, и выстрадал, поэтому заслужил. Но не в моих силах сделать какой-то решающий шаг, нанести последний удар. Сейчас все зависит не от меня. Я хочу быть писателем. Настоящим писателем, которого видят, замечают, читают. Московским писателем. Которого слышат! И я прошу тебя сейчас об одном-единственном: услышать меня. Я просто не смогу больше, если сегодня ты не поможешь мне. Я просто не знаю, что мне делать дальше, если это не получится сегодня. Не потому, что не хочу или не смогу, а просто не знаю. Это мой единственный шанс в жизни, Москва. Помоги!

Пока я стою на мосту, замерзаю. Нужно ускорить шаг. В кармашке сумки побрякивает маленькая фляжка коньяка, но я еще не прикладывался к ней: не хотелось приходить на премию пьяным. А уж тем более трезвеющим.



ЕЙ НРАВИТСЯ ЭТА ПТИЦА

«Дебютанты» собираются на первом этаже высотной гостиницы возле фонтана. Я пытаюсь сдать свою большую сумку со спортивными вещами, предварительно переложив в карман коньяк,

но в гардеробе не принимают: боятся теракта, говорят, особый приказ. Кто, интересно, мог бы организовать здесь теракт, думаю, — пятнадцать лучших молодых писателей России? Или кто-то, может, напротив, захотел бы их подорвать? И, может даже, прилетел из будущего с этой целью? Как в фильме «Терминатор». Но деваться некуда, хожу туда-сюда по маленькому пространству вокруг фонтана с сумкой наперевес, чувствую себя как на автовокзале. Как ни странно, вижу знакомые лица: многих писателей я замечал на записях прежних церемоний, и одеты они так же точно. Чтобы придать своему присутствию осмысленности, внимательно смотрю футбол на большом экране. Проблема лишь в том, что это повтор, я уже знаю счет матча, и помню, что через пять минут будет гол. Собственно, его и жду.

Чуть позже появится Сладникова. Она будет рассказывать, что нужно делать победителям — куда идти после сцены, с кем заключать договор. Я уже узнал Медковского и Догоренко, они неподалеку, тоже слушают, но смотрит координатор только на меня. Снова думаю, что это *знак*, и ухожу в свои мысли. Смысл сказанного Сладниковой от меня ускользает. Вместо того чтобы слушать дальше, вспоминаю, как публиковался с ней в одном номере сетевого журнала, и на сайте наши фотки стояли рядом. А это ведь тоже должно что-нибудь, да значить! Сладникова говорит писателям, чтобы не разбредались, сейчас будет прогон нашего выхода на сцену, который проведет режиссер московского концептуального театра.

Наконец, вижу сам зал, где пройдет вручение, но пока он пустой. Два интеллигента, на вид бедные и пьющие, обсуждают зал с последнего ряда, и из обсуждения становится понятно, что они недовольны. Слышны слова «прогнанный», «литература в таком зале — это, конечно, да», «но что делать». Мне же сам зал кажется атмосферным, в чем-то уютным и уж точно удобным. Наверное, здесь проводят бизнес-совещания какие-нибудь

богатые постояльцы отеля, что и раздражает интеллигентов. Радует, что не нужно подниматься на сцену: номинанты сидят в первом ряду, достаточно поднять задницу — и ты уже вроде бы как на ней.

Режиссер производит впечатление задерганного нервного человека, выглядит он плохо и одет неважно. Много ругается на ассистентов по звуку и освещению. Нас он терпит, но временами отпускает фразочки вроде:

— Я понимаю, конечно: для вас режиссерское мастерство — темный лес, вы не знаете, зачем это все нужно, но, поверьте, вам просто нужно сделать все, как я говорю.

Кажется, он еще не знает, на «Дебюте» есть номинация «Драматургия», и трое из нас претендуют на звание лучшего в ней.

Репетируем выход, выстраиваемся, запоминаем свои номера. До меня режиссер решает докопаться капитально: ему не нравится, как я встаю со стула, и что не улыбаюсь и не делаю приветственных жестов воображаемому залу. Я же считаю, что если ничего не получу здесь, вообще не имею права на какие-то лишние действия, а уж улыбаться в такой ситуации точно нечему. Пытаюсь отстоять свою точку зрения, но режиссера она явно не интересует. Чтобы не продолжать дискуссию, он, слава богу, отстает.

Коротко знакомлюсь с Догоренко. Обсуждаем режиссера и прогон.

— Это же не премия «Оскар», — говорю. — Зачем здесь заставляют сиять улыбкой и что-то махать? Мне, например, хочется сохранить серьезность.

— Да я вообще, может, клаустрофоб и мизантроп, — говорит Догоренко и смеется, подчеркивая иронию собственных слов. Но на клаустрофоба и вправду похож. Догоренко демонстрирует поведение рядового айтишника, программиста, кем и является по основному своему роду деятельности.

Медковский держится в стороне и общается только со своими. Он пестует в себе необычность, подчеркивает ее всеми

возможными способами. В затемненных очках, с амулетом на шее, в красивой рубашке. Сам он полноват и обтекаем, словно колобок, говорит медленно и размеренно, как будто наслаждаясь течением собственной речи.

Финалисты других номинаций мне не так интересны, но поглядываю и на них. Большинство напряжены, как и я, случайный разговор не длится более двух фраз, человек отходит и продолжает слоняться в холле или сидит у фонтана. Только один, из «малой прозы», ходит довольный, улыбается девушкам и то и дело позирует фотографам. Проходит журналист в футболке «Литературного радио», но мной он не интересуется. Да и вообще не ясно, интересуется ли он здесь чем-нибудь.

Еще совсем немного, и приедет Юнна. Она отпросится раньше с работы и даже сама найдет, как добраться, хотя никогда не бывала в этих краях. Мы будем стоять с ней и пить игристое, ожидая запуска в зал, и улыбаться друг другу, как будто мы только вдвоем.

— Мне нравится эта птица, — скажет Юнна, улыбаясь, о статуэтке премии «Дебют». — Я хочу, чтобы у нас она завелась.

— Что ж, буду добывать, — пытаюсь пошутить, делаю еще глоток и целую ее в нос, покрасневший от мороза.



ЗА УСПЕХ ВСЕ ПРОЩАЮТ

К началу церемонии я еще пару раз отхлебну из фляжки. Юнна сидела на заднем ряду с самого краю, возле прохода, и я до самого последнего момента оставался с ней. Обнаружив, что зал полон и все финалисты уже расселись на первом ряду, я поспешил вниз. Меня поразило, как изменился режиссер, а он оказался еще и ведущим. Это был совершенно другой человек, на нем не осталось и следа тех изможденности, раздражительности. Он стоял в шикарном костюме с бабочкой и сиял в лучах

обращенных на него света и зрительских взглядов — и был, казалось, счастлив так, как будто это лучший день в жизни, а все собравшиеся в зале пришли на его бенефис. Говорил он банальщину: писатель должен писать, а читатель читать. Но как-то нужно было открывать церемонию, традиция для этого человеческого занятия, ритуала такова. «Попробуй сам составь приветственную речь! — мысленно сказал я сам себе, — откроешь много нового. Это тебе не “Буйного кота” какого-нибудь набросать, а потом сидеть вот, выпив коньяка, пока другие работают».

Еще одним откровением стало то, что все номинанты приличные люди. Никакого тебе эпатажа, никаких гадких перформансов. Нет, я не ждал чего-то радикального, но даже легкой эпатажности в поведении этих людей не было. Все либо сильно волновались, либо, напротив, излучали спокойствие. Вот девушка, совсем молоденькая, хрупкая, театральная вся, волнуется, получив премию в поэзии. Она напоминает одну подругу из забытых дней — та сыпала цитатами из поэтов, посещала биеннале, разговаривала с придыханием, словно каждым словом доверяет мне важнейшую из истин, и любой полет мухи по комнате переживала как трагическое и прекрасное событие. В забытые времена девушка была влюблена в меня, а теперь приезжает в Москву на шопинг, питается вегетарианской пищей, делает селфи с дакфейсами и колесит по Европе с молодым и успешным мужем. Муж за пару месяцев получает сумму, за которую бьются шестьдесят тысяч соискателей премии «Дебют».

Настораживает, что приз в поэзии вручает киевлянин, редактор крупного журнала и приятель Медковского. Я видел их вместе, они что-то очень тепло обсуждали.

Вот номинация «критика», которую можно переименовывать в моралистику. Здесь побеждает строгая, не улыбчивая молодая дама. Проигравшие стоят с кислыми лицами; скрыть разочарование и изобразить радость от чужой победы — эта задача

непосильна для них всех. Молодая дама предупреждает, что будет читать по бумажке, но не потому, что переживает, а потому, что ее речь слишком длинная и специализированная. Я не могу и не хочу в нее вникать, мысли заняты совсем другим, а девушка читает заунывно, монотонно. Приятно видеть человека, отдающегося своему делу, но победа в моем понимании — это все-таки что-то другое.

Речи девушек придают мне уверенности; если выиграю, во-первых, скажу короче, во-вторых, буду волноваться, но все-таки не настолько, как победительница в поэзии. В-третьих, они, скажем так, не поражают, а значит, и моя не будет слишком негативно выделяться на фоне остальных. Ну а главное, что я вдруг понимаю: можно читать по бумажке, только нужно предварить свою шуткой или объяснением. С этим проблем не должно быть. Победитель в малой прозе ведет себя совсем иначе — шутит, улыбается, наслаждается моментом. Видимо, он хотел бы растянуть его, говорить долго, может быть, что-то читать, может, общаться с залом и уж точно не терпеть после себя других лауреатов, но рамки и условности ограничивают его, и оттого победителю немного грустно.

— За успех все прощают, — говорит он со сцены. — Когда ты успешен, тебя все любят! Успех, успех!

Я не стал бы, думаю, так кричать об успехе, получив премию вроде «Дебюта». Эта премия — шанс на успех, путь к успеху, но сама она не успех. Правда, сама его речь заряжает уверенностью: если я выиграю, мне, в конце концов, тоже простят минуту невнятного бормотания. Зато потом — договор, издание книги, внимание прессы, критиков, деньги. Рядом сидит Медковский, и он впервые оборачивается ко мне:

— Нас на затравку оставляют, — говорит он. — Дают почувствовать момент.

Машинально киваю: ну да. Разве что не все мы, конечно, будем последними. Будет только два последних — а первый

будет один. Наверное, он даже знает, кто будет первым, говоря про свою затравку. Но эта мысль придет позже, пока что она не пришла.

Я смотрю поверх головы Медковского туда, где под самым сводом зала, возле звукорежиссеров и осветителей, сидит моя Юнна. Народу полно, и между нами пятнадцать рядов, а кажется, что она совсем рядом, можно протянуть руку. Объявляют нашу номинацию. Мою.



ЗАЛИВ

Когда я жил в Петрограде, у нас с тогдашними приятелями была традиция на майские праздники уезжать в лес. Да и когда жил в других городах, не желая нарушать приятную традицию, старался приезжать. Конечно, в лес — это не совсем точно. На самом деле мы выезжали в загородный дом приятеля Дениса под Зеленогорском. Можно было жарить шашлык, курить и предаваться размышлениям, расположившись на качелях. А можно было спуститься к заливу, он был совсем рядом, и любоваться космическими видами. Они скорее пугали, чем завораживали, и я предпочитал не смотреть на огромные безжизненные камни, мрачные сосны и холодную обездвиженную воду. Никогда не считая Финский залив морем, его красотами я любовался лишь потому, что был лишен других. Тогда я ложился на спину, прямо на песок и камни, и смотрел в небо. Там разгорались и гасли, прячась за облаками, звезды, и из самых черных глубин на меня, укутанного мягкой, но крепкой броней травы и алкоголя, взирала бесстрастная вечность. Я прекращал разговоры с приятелями и замирал надолго; когда к тебе обращается вечность, все остальное лишь суета. Да и о чем были те разговоры? Сейчас трудно вспомнить, только один запомнился, но — запомнился навсегда.

Мы садились в огромный джип Дениса и ехали за несколько километров от поселка — туда, где есть только деревья и море и нет никаких домов. Мы брали с собой палатки, мясо для шашлыка, ну и водку, и пиво тоже. Я уже жил в другом городе, моя жизнь, ее мотивации стали мало понятны приятелям, с которыми мы виделись все реже, да и для самого меня были туманны. Николай, промоутер в прошлом, с которым мы часто бухали у меня в подъезде, лечили душевные раны, тоже когда-то писал и стихи, и рассказы, и песни. Он *поднялся* — стал координатором проектов, руководителем отдела, а вскоре и совладельцем доходного бизнеса. У Дениса и так было все в порядке, ему вообще не нужно было добиваться ничего: родители владеют крупной фирмой, квартира в престижном районе, жизнь удалась. Он тоже писал стихи и рассказы, сначала талантливые, потом просто злые, о том, что всех надо убивать. И только Женя, вечно безработный, потому что не хотел работать, стрелял у всех на пивко.

В разгаре встречи, выпив, я рассказал, что ничего не делаю, что пребываю в поисках себя, снимаю комнатку в Горьком с видом на Оку и работаю разнорабочим, учусь на плиточника. Пока ничего другого не подвернулось, но эта работа связана с поездками по области, и я уже столько насмотрелся, что могу целые сутки рассказывать о жизни людей в Поволжье. Планирую написать роман, что ли, да все времени нет. Я думал, что старым приятелям будет интересно, но они лишь недоуменно хмыкнули.

— Вот научись — будешь плитку нам с Дэном класть, — подначивал Николай.

— Да ну, на хрен, — отшучивался Денис. Ему то ли было по фигуре, то ли действительно неприятно — не знаю, но он не хотел развивать тему. Женя просто хохотал.

— Колян, что ты за чушь несешь? — рассмеялся я. — Тошно слушать.

Но Николай не хотел униматься. Тогда я увидел его таким впервые и очень быстро понял, что у меня стало приятелей меньше на одного.

— А чего чуть-то? — приговаривал он, разводя огонь. — Так и будет. Это сейчас тебе кажется, что все фигня, что лучше будешь лапу сосать, чем пойдешь к Дэну плитку класть.

— Ну как бы да, — неопределенно смеялся Денис.

— Допустим, — ответил я, прикуривая сигарету. В те годы я еще чувствовал себя внутренне свободным, считая, что это не жизнь тащит меня на цепи по Горьковской области и сталкивает с плиточниками, грузчиками и дальнобойщиками, а мой свободный выбор, желающий *попробовать разное*, пережить некий новый опыт. В рамках того, что мне доступно, конечно. — Но мне ничего не нужно. Я питаюсь колбасой и пивом, живу по съемным хатам, езжу по городам. Вариант класть вам, сукам, плитку, никогда не будет единственным.

— Сам сука, — для порядка вставил Денис.

— Будет, — кивнул серьезно Николай. — Вот будет у тебя жена умирать от рака, и деньги нужны будут, а ни родителей не будет, ни работы, ни хрена, и ты согласишься на все, и Дэну пойдешь класть плитку, потому что только он нормальные условия предложит, и вообще будешь делать все, потому что вариантов не будет, понимаешь?

— Колян, ты это серьезно? — спросил я.

— А ты чего ржешь? — обратился он к Жеке. — И с тобой тоже так будет. И со мной, вообще-то, в случае чего. Да с кем угодно.

— Ну, наверное, да, — наконец согласился Денис.

Я хотел что-то ответить, но вспомнил о Горьковской области, где на хозяина, выбившегося в люди, работает вся деревня, включая бывших друзей, одноклассников, их родителей и детей, и осекся: бог с вами. Спорить с очевидной прямоотой не имело смысла. Единственное, что спасало меня от ледяного ужаса

этих слов, — понимание того, что в личной жизни никаких перемен не предвидится. Какая жена, откуда бы ей взяться?

— Дружить можно с теми, кто такой же, как и ты, — вспомнились слова моего деда. — Это пока вы ничего не делите, пока у вас только веселье — тогда это дружба.

Зачем он мне говорил это в детстве? Разве я понимал тогда?

— Мы маленькие люди, Стократовы. Мы никогда ничего не добьемся. Никогда. Ничего. И наше дело ма-а-а-аленькое, — издевался голос пьяного деда, словно разрезая мне черепную коробку и выжимая сочный лимон прямо на раскаленный мозг. — И самое главное, мы будем довольны. Да, мы будем довольны своим положением! Главное — пристроиться и не высовываться. Вот и все наши дела. У нас нет другого выхода, это единственное, что мы можем. Если не так, то мы вообще не сможем существовать. Это не наш мир.

Я долго жил в небытии. Поселился там и чувствовал себя комфортно. Но и за жизнь в небытии нужно платить, тем более что выдана она в кредит. Писательская мечта обрекает на закономерный и бесповоротный финал. Может, у тебя, молодой, начинающий автор, нет жены, нет даже девушки, и понять тебе это все будет так же тяжело, как когда-то мне. Да и кто я такой тебе? Авторитет? Какие премии получил? Кто у меня брал интервью, кто рассказывал о моем новом романе? Такого не было. Но я даю тебе одну деталь, которой может не хватать в твоей модели жизни. Вдруг именно она окажется решающей? Ты уж думай сам, что тебе с нею делать.

Выбирая писательскую мечту, ты выбираешь плитку, которую будешь класть до конца своих дней вчерашнему веселому другу для того, чтобы спасти жену. Ты будешь делать это как миленький и проклинать свою писательскую мечту, рвать и проклинать свои же книги, стоящие на полках, толстые журналы. Ты будешь презирать себя за них, а не гордиться, но ничего не сможешь изменить. И так будет до тех самых пор, пока

ты не повесишься, потому что спасти жену, зарабатывая плиткой, как сам понимаешь, нельзя.

В коридоре вижу Колбасинского. Это он определит сегодня мою судьбу. Сторонюсь, чтобы дать ему пройти, но он стоит и смотрит на меня. Не знаю, что сказать, да и он молчит. Наверное, видел мое фото, я тоже видел его. Отхожу в сторону. Есть встречи, которые переворачивают все в жизни. А есть такие, как эта. И как та, с шашлыком в лесу.



ПЯТЬДЕСЯТ ТЫСЯЧ И БЕДНЫЕ ЛЮДИ

Объявляют нашу номинацию. Мою.

Поднимаясь, поворачиваюсь к залу и изображаю подобие улыбки. Колбасинский подходит к микрофону, чтобы зачитать приговор. Рядом с ним стоит еще один микрофон, к которому ни Медковский, ни Догоренко почему-то не подходят. За моими соперниками, спустившись с вершины зрительного зала, оттуда, где Юнна, остановилась девушка в черном полупрозрачном наряде. Такие девушки вручали проигравшим в прежних номинациях утешительные призы. Мне остается только подойти вплотную к микрофону, теперь я практически рядом с Колбасинским, а микрофон, предназначенный победителю, оказывается возле моего носа. Если проиграю, мне предстоит убраться отсюда к черту, предоставив микрофон более успешному представителю человечества, и недолгое присутствие возле него можно будет рассматривать только в комическом ключе.

«Но я ведь не проиграю!»

Внезапно думаю — да, стоя на сцене, не потом! — как мы, все трое, здесь стоящие, отлично иллюстрируем названия своих романов! Догоренко, худощавый и длинный, прямой и понятный «Гвоздь». Медковский в своем цветастом наряде удивительно похож на «попугая», попавшего в толпу бурых, ну или

в редких случаях белых, словно медведи, в чем-то похожих один на другого гостей. Ну а я, толстый и полосатый, со странной улыбкой, самый непонятный молодой автор, загадочный и отталкивающий — конечно, «кот». В годы студенчества у меня даже кличка была — Матроскин.

На долю секунды во мне рождается совершенно новое ощущение зала. Я осматриваю его поверх голов, не вглядываясь в лица, а лишь охватывая масштаб территории, занятой этими людьми. Масштаб удовлетворяет, и я чувствую заслуженность этого масштаба, я чувствую, страшно сказать, власть над этим залом: я стою здесь, а они там. И если мне позволят, я буду даже говорить этому залу, а он будет слушать. Таково распределение ролей на сегодняшнем человеческом ритуале. Но ощущение тотчас проходит, и возвращается привычный испуг. Начинает говорить Колбасинский.

Он говорит, что хороший роман — это приключение, и я согласен. Но отнесет ли он к приключению моего «Кота»? Роман на нем построен, смоделирован вокруг него. Но он перегружен побочными смыслами, ответвлениями, которые никак не добавляют динамики сюжету, и если рассматривать роман как чистый trip, то в нем, к моему расстройству, найдется слишком много остановок. Но теперь уже поздно, Колбасинский решает, имеет ли право мой «Буйный кот», а вместе с ним я, на жизнь. Вернее, объявляет. Решил-то он уже давно. Но то, что, говоря о претендентах, он начинает с «Буйного кота» — это недобрый знак, да такой, что перебивает, как джокер, все мои знаки предыдущих дней. Говорить обо мне его вынуждает формальность, просто то, что я здесь. О победителях не говорят вначале, сглатывая я, и внутри словно рушится огромная стена, но становится не легче, а страшнее и беспомощнее — это стена моей защитной крепости. Колбасинский отмечает влияние на мой роман и «Бедных людей» Достоевского, и Пелевина, и подводит итог:

— Я никогда еще такого не читал.

Где-то внутри вырастает новая стена, но она хрупка, это лишь обман внутреннего зрения, он создан пылью, поднявшейся на руинах разрушенной крепости. Пыль рассеется скоро, и все что останется, — камни и пустота. Над моими развалинами раздаются аплодисменты: кто-то из зала решил проводить угасающую мечту в последний путь. Я киваю, как болванчик, и дослушиваю Колбасинского. В его словах восхищение двумя другими авторами, они точно подчеркивают, оттеняют ничтожность моего присутствия на сцене. На фоне титанов литературного слова, богов мысли моя воображаемая писулька сворачивается в трубочку, скукоживается и летит в заботливо открытый моим же воображением сточный колодец. Туда же, конечно, дорога и мне. Но подо мною нет колодца, там твердый пол.

— Мы долго совещались и определяли, кому отдать статуэтку, — говорит Колбасинский, — потому что все авторы были хороши. И решили впервые в истории премии... В голове вспыхивает пожар: еще есть надежда! не дадут никому? дадут всем? Не на победу, так хотя бы на ничью. Я как Коста-Рика, цепляюсь за ничью, чтобы сохранить, продлить этот важный момент, но мои мысли никто не слышит, зато в мое существо входит, с каждым чеканным словом, холод и ужас. — Поделить премию между двумя авторами...

Но неужели они не понимают, какой это кошмар?! Что таким решением просто убивают одного автора, втаптывают в грязь, проезжаются по нему катком, ставят на колени и рубят мечом голову — перед огромным залом, перед лицом литературной мечты, хохочущей и плюющей в лицо:

— Так тебе, сука! Так тебе! Вот — твое истинное место, вот — твой подлинный уровень, вот ты кто на самом деле. Пошел вон отсюда, ублюдок! Вон из литературы!

И скатившуюся голову пасуют футболисты — не Коста-Рики, конечно, а мощной, великолепной сборной, команды-мечты, без изъянов и слабых мест — жюри и победителей «Дебюта».

И, наигравшись, прицельно бьют, запуская вверх. В темный угол зала, где самое место и время пылиться ей и истекать кровью, хлопать пустыми ресницами и, словно рыбе, двигать беззвучно ртом. Туда, где сидит Юнна и разочарованно вздыхает: еще одна мечта не исполнилась, еще раз — в который уже! — в нашей жизни. И сколько, в конце концов, можно!

— Медковским за роман «Попугай» и Догоренко за роман «Гвоздь».

Все. Я смотрю на Юнну и криво улыбаюсь — больше ничего и никого для меня в этом зале нет. Спешу убраться со сцены, чтоб не мешать богам всходить на Олимп, да и смешно ведь — ей-богу! — светить глупой рожей среди одухотворенных лиц. Открыв глаза и сфокусировав внимание, вижу, что режиссер отчаянно жестикулирует мне.

«Чего он хочет, сука?» Не сразу догадываюсь, что не выполнил часть ритуала: не получил из рук красивой девушки в черном утешительный приз и диплом. Улыбаюсь ей, она мне нравится. Наверняка участвует в богатых светских раутах, приемах, элитных выставках, а вот сегодня дали специфическое задание — утешать нищего недописателя. Не буду расстраивать ее кислой харей, она ведь профессионал.

Режиссер наконец успокаивается и больше не смотрит на меня. Что ему до моих эмоций и мыслей? Он ненавидит меня, наверное, за то, что я мог сорвать ему представление, помешать отлаженной работе. И правильно делает. Кто я такой, чтобы со мной здесь считаться? Никто. Я самый проигравший из всех, другие просто проиграли, другие имели право сказать: «Я разделил второе место с тем-то», меня же сунули носом, словно котенка в дерьмо: нет, проигравший именно ты. Ты худший. Ты последний. И уже наплевать, что из пятнадцати, и откуда эти пятнадцать взялись, и что сначала их было сто, а еще раньше...

Нет. Важно только одно: мне не разрешили быть писателем. Не позволили. И никому, кто упрекает меня в том, что я пишу,

вместо того чтобы делать что-то другое, нормальное, я так и не смогу закрыть рты, проорать в лицо им:

— Боги литературы меня увидели! Они меня приняли! Я буду писать, потому что люблю, могу и умею!

Не можешь, сказали мне, не умеешь. Пошел вон отсюда. Катись к чертовой матери, возвращайся в подъезд, плачь, пей, молись, люби.

Как ни странно, нет ужаса, только оцепенение. Вот Догоренко говорит, какой он молодец, что, живя за границей, он не забывает родную речь. Медковский весел, он читает длинную и страстную поэму о самом себе. Он выступает последним, уверенный: именно он — триумфатор из этих двоих. И что именно он заберет статуэтку, пока вторую отливают на каком-то там заводе.

— Читает наизусть, — говорит Колбасинский коллеге на втором ряду. Да, они читали черновики речей. Да, наверное, этим черновиком я и вычеркнул себя из списка окончательно. Они *отплевались* от меня, я был им омерзителен.

— Никогда не сдавайтесь, — произносит Сладникова, как будто вытаскивает кусок из моей речи, чтобы поиздеваться, усмехнуться напоследок надо мной. Нет, это даже не Сладникова — сама литература.

Ко мне вернулись образы, терзавшие все эти дни. Не я оттолкнул локтями соперников, а они — меня: столкнули лишнего, он и упал, и сошлись, и стоят друг с дружкой, как будто никого и не было меж ними. Поднимаюсь по лестнице, возвращаюсь с позором к Юнне.

Молчим. Я отдаю конверт.

— Там деньги, — говорит Юнна.

— Знаю. Пятьдесят тысяч.

В своей паршивой жизни, лишенной хоть какого-нибудь *приключения*, которые так воспевают Колбасинский, литературным трудом я заработал ровно пятьдесят тысяч. Я ненавижу

и презираю свою жизнь. А про «Бедных людей» это он зря, конечно. Если книгу сравнивают с «Бедными людьми», она обязана получать любую литературную премию, а тем более премию молодых. «Бедные люди» не просто книга, это и есть назначение писателя, смысл литературы. Лучше бы он молчал.

У моей речи, над которой хохотали боги, теперь будет совсем другое назначение. Мне только предстоит его осмыслить. Какой же я дебил со своим этим «буду поддерживать, помогать»! В литературе никто не поможет, никто не поддержит, это выжженная пустыня. Даже в дворовой драке у вас, молодой автор, больше шансов, чем здесь.

Зачем, обращаюсь к вам, эта литература, если нет таланта? За что она разрушит вашу жизнь, за что заберет главное, за что лишит спокойствия и счастья, ничего не дав взамен? Ради чего вы проживете жизнь, так и не поняв, что это было? И итог ваш будет один: понимание, что можно было успеть другое. Можно было успеть.

Начинается банкет. Вспоминаю цитату: «Фундаментом литературной дружбы служит обмен отравленными бокалами (Оскар Уайльд)». Мы уходим.



ДЖАЗ-РУЛЕТКА

— Я ненавижу свою сраную жизнь, ненавижу, Юнна! — ору, стоя посреди Кутузовского, безуспешно пытаюсь перейти его до конца. Мы застряли на островке безопасности — так их называют, что ли? У меня никогда не было автомобиля. И теперь вокруг нас один сплошной поток, все куда-то мчатся, боятся не успеть. А я уже отомчался, я уже не успел.

Дальнейшее помню плохо. Мы вроде заходим в кафе. Оно закрывается, как и все остальное в злосчастном торговом центре, и официант просит скорее выбирать, быстрее есть и уходить,

чтобы сотрудники успели по домам. Листаю алкогольную карту: коктейли.

— А есть что-нибудь, чтобы убраться? — спрашиваю официанта. — Так, чтобы вообще ничего не чувствовать, не знать ни как тебя зовут, ни что ты жил когда-то на белом свете и писал какого-то паршивого «Буйного кота».

— Лонг-айленд, наверное, — осторожно говорит официант.
— Отлично.

Молчим. Смотрю вверх, куда уходят лифты, вспоминаю свою жизнь, кредиты, жалкие попытки опубликоваться, что-то написать, выкроить время, скудные развлечения вроде пива на выходных. Гадство, какое гадство! Мы могли бы сейчас с Юнной поехать колесить по Москве, и ветер раздувал бы нам волосы, и мы были бы счастливы, счастливы, бесконечно, беспамятно счастливы! Но этого не будет ни в одной из жизней, никогда пазл не сложится так же — будет что-то еще, но *такого* уже не будет. Хочется колотить руками о стол, хочется ринуться на пол и биться о него головой, расшибаясь в кровавые капли, хочется освободиться от тела, от мыслей, стать сумасшедшим, стать дервишем каким-нибудь, забыться в тряске тела, в эпилепсии, предсмертной агонии — только не быть, не быть! Потому что больно. Потому что все разрывается на чертовы части, чертово все!

Мы пили лонг-айленд прошлым летом, в отпуске, оказавшись на пару прекрасных дней в «Ялта-Интуристе». Мы плавали в теплом бассейне, и где-то над нами зажигали народ аниматоры своими суетливыми криками и музыкой: «Это “Ялта-Интурист”. Туц-туц!» А потом сидели на летних стульчиках с видом на этот бассейн, кипарисы и Черное море где-то вдалеке. И лонг-айленд был прекрасен, и Юнна рядом, и такой же прекрасной была жизнь. Все повести и роман были готовы, и казалось, что я навсегда *избавился* от желания писать.

Но нет, эта сила лишь крепче хватала меня за горло и впрыскивала парализующий яд. Она использует меня так, как

захочет, все мои страдания, капельки счастья — лишь инструмент в ее тайном и непонятном мне действии. Она выкрутит и выжмет из меня все, и то, что я сочту своим успехом, — лишь необходимое чувство, чтобы исполнить ее волю, и поражение дается не мне, это лишь воздействие, необходимое в той степени, в какой оно способно обеспечить достижение замысла. А самое страшное, что мне это только так кажется, потому что я сумасшедший, и никакой этой силы нет.

— То, что произошло, — это моя непригодность в литературе, — говорю Юнне. — Место у нас в крупной прозе есть всем: и гвоздям, и попугаям, а вот таким, как я, дебилам и дегенератам, — нет.

Не оценили «Буйного кота», гады, не поняли. Благодаря вам его не увидят и не оценят теперь читатели, не увидит и не оценит никто. А с другой стороны, причем тут *гады* — это ведь сама литература делает выбор, а люди только служат ей, выполняют ее волю — все эти члены жюри, редакторы, организаторы... Бог с ними со всеми. Но зачем литературе нужно было меня унижать? Почему не дать мне просто проиграть, с достоинством, как было в других номинациях и у других, нормальных людей?! Почему? Почему? Ведь я был готов принять все, я не был готов только к этому! К унижению.

— У тебя впереди много сезонов, — сказал Медковский, когда вернулся после своей речи, обращаясь ко мне. Не знаю, издевка это была или просто констатация факта. Мои «молодые авторы» за спиной махнули рукой и закрыли на меня глаза: черт с ним, всегда был лузером.

Но Юнне-то зачем все это слушать? Зачем ей это знать? Ведь она ни в чем не виновата, будь ее воля — она дала бы мне все премии Земли. Пока еще дала бы. Но это время уже уходит, его совсем скоро не станет. Я иду, пришибленный собственным горем, и не понимаю, дурак, этого. Премия не просто станет мелкой неудачей жизни, она станет ее крахом, и теперь, словно

часы, эта жизнь закрутится в обратную сторону. Ты допрыгнул почти до высоты, но не удержался, и теперь остается падать.

— Садитесь, Юнна, в такси, — говорю. Она спорит, что-то говорит, но я не слышу. Пусть уезжает, пусть сидит дома в тишине.

Я бреду по Москве черной, насквозь *негативной* тенью. Я проиграл здесь все, мне больше не к чему стремиться, и ждать мне больше нечего. Я ничего не напишу, потому что в каждой строке теперь будет только одно: боль. Ее никогда не выскребешь, не вычистишь с души. Только в могиле она растворится, но тогда уже точно будет поздно что-то писать.

Через десять минут я, полумертвый, перешел дорогу в поисках магазина или кафешки с пивом, и ко мне пришел в голову первый сюжет. Для маленькой новой повести. Я зашел в Сбербанк, снял деньги, вышел — и родился сразу же второй. Не считаясь с моими мыслями, с моим горем и желанием накидаться, они переговаривались между собой, выясняя, а не образовать ли им общий, знакомились, желая понравиться, *притереться*, рассказывали о себе.

И я был тоже вынужден знакомиться, я выяснял все больше и больше о неожиданных моих голосах и втягивался в обсуждение, тоже начинал думать:

— А что, если *повернуть так?*

Стоп. Дайте же мне напиться, суки, дайте же мне отдохнуть от вас! Ну чего вы, в конце концов, накиннулись? Я бесперспективный автор, я не способен совладать с вами. Найдите себе другого.

— Я не пи-са-тель! — кричу, прижимая ладони к ушам. У меня сейчас, кажется, начнется истерика.

«Что это? — думаю я, прогнав кое-как сюжеты. — Желание драться, чтобы доказать свою состоятельность, как у боксера, только что побывавшего в нокауте? Но после драки кулаками не машут, а я уже свою драку проиграл. Или просто истязующее, мазохистское, унижительное желание — продолжать работать

несмотря на то, что тебя презирают. Чтобы было потом тяжелее, больнее, страшнее».

Навстречу идет красивая пара — девушка с успешным мужчиной в пальто. Они вышли из автомобиля и сейчас проходят мимо. Мужчина, быть может, чуть старше меня. И смотрит мне в глаза, хотя рядом щебечет его птаха, и вспоминает, наверное, себя, когда он еще не был успешным, а был страшным, несчастным и бедным. Но что ему до меня теперь? А вдруг и я такой когда-нибудь буду, думаю. Но нет. Такого, конечно, не случится. Я снова перехожу дорогу, на сей раз по подземному переходу. На другой стороне наконец обнаружился магазин.

Беру три бутылки черного горького пива и зажигалку, чтобы было, чем их открыть. В плеере играет музыка, но я ее не слышу, она играет просто так. В голове совсем другая песня, которую я не закачивал, конечно же, отправляясь на церемонию. Эту старую-престарую песенку я слушал в школе:

Крутится рулетка, играет джаз.
Я проиграл, я пи***ас!

Увижу ли я эти фамилии, Медковский и Догоренко, спустя десять лет? И если увижу, то где? Если это будет так, значит, я проиграл по делу. Но лучше бы мне их не слышать. Мне будет их очень больно слышать через десять лет — там, где я к тому моменту буду.



ВПЕРЕДИ ВЕКА. ТРЕТИЙ РАЗГОВОР С МОСКВОЙ

Пешком я дошел до станции метро «Выставочная», а точнее до моста Багратион. Чтобы попасть в метро, нужно пройти пешеходный мост, который на самом деле торговый центр — вот

я стою перед входом в него, на идеально круглой площади с заледеневшими скамейками, как будто жертвенном алтаре, а на другой стороне реки возвышаются гигантские сверкающие башни Москва-Сити.

Скамейки были пусты, и, куда бы я ни бросил взгляд, я нигде не видел человека. Может быть, кто-то грелся в машинах неподалеку, и кто-то, конечно, шел по Кутузовскому, оставшемуся за моей спиной. Но я был один на своем алтаре, маленький человек возле входа в метро. Я пил свое пиво, и в ушах играл последний альбом группы «Торбы-на-круче», когда-то любимой группы. Такая хорошая музыка, и к какому же дрянному событию она стала саундтреком!

Сброшен как балласт, упал он и ползет
По улицам Москвы, по питерским мостам...

Просто я не готовился. На моем плеейере то, что я слушал всегда.

Весь мир ушел вперед, а он остался здесь —
Не смог ввести PIN-код, не смог уйти на взлет,
Хотя все шансы есть.
И впереди века, и все как надо, все.
Строка, еще строка несет его, несет
К далеким берегам, где только тишина,
Он скоро будет там...

Идет мелкий, противный то ли дождь, то ли снег. Как будто маленькие иглы валятся с неба и терзают щеки. Очки все залиты. Решаю не идти в метро, огибаю вход в торговый центр, перебегаю маленькую двухполосную дорогу и поворачиваю вправо. Прохожу мимо закрытого летнего ресторана. Только площадка с прекрасными видами напоминает, как здесь когда-то

было хорошо, а за площадкой начинается обрыв. Там, внизу, подо мною — набережная, такая же двухполоска, только больше людей. Они ходят вдоль воды, показывают пальцем на сверкающие башни, фотографируются, улыбаются. Они меня не видят, счастливые люди вообще никого не видят, кроме себя. Обхожу ресторан и иду вдоль обрыва, увязая в снегу. Впереди по курсу большая раскопанная яма, огражденная хилым заборчиком. За ямой нестройные ряды кустов. Мне срочно необходимо отлить.

И я это делаю. Сквозь хилые ветви кустов вижу, как срывается с места и мчится куда-то красная девятка. Проходит молодой человек и не спеша говорит по телефону. Я застегиваю ширинку, шатаюсь и слушаю «Торбу-на-круче», подхожу к обрыву. Люди внизу все так же ходят, все так же фотографируются. Они не знают о моем существовании, так же как не знают и никогда не узнают читатели.

— К черту, — не то чтобы кричу, но издаю довольно громкий протяжный, ноющий звук. — К черту, к черту, к черту!

Я поднимаю голову. Спиралевидная башня словно приходит в движение, она действительно крутится, как исполинский шуруповерт, и это движение наделяет ее свойством бесконечности, она властвует надо мной теперь. Не могу оторваться.

— За что так, Москва? — качаюсь и шепчу огромной спирали, подпирающей небо, подсвечивающей Луну. — За что ты со мной так, Москва?

Голос мой громче и громче, тем более музыка, а слышно меня или нет — разве же это важно, когда я проиграл, проиграл, проиграл решающий бой в своей жизни! Да и можно ли это назвать боем? Только избиением.

Валюсь в снег и катаюсь в нем, как сумасшедшая собака. Катаюсь в нем и ору — ору просто:

— А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а!

Я не знаю, что мне еще орать. Мне больно, и ни пиво, ни снег, ни коньяк, которого еще осталось на пару глотков, не могут

заглушить эту боль. Мне хочется вывернуться наизнанку, разорваться, лопнуть.

Да, я настраивался на поражение, но никогда не предполагал, что оно будет таким. Я был готов ко всему, но не к этому.

— За что меня так щелкнули по носу? — кричу я Москве. — За что меня так пнули? Разве я заслужил? Чем?

Неужели они совсем не подумали о третьем, когда принимали такое решение, о том, что они не рожают две новых звезды — а убивают! Убивают человека. Убивают мир.

— А-а-а, — ору. — А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а!

Стою на коленях перед спиралевидной башней, беру остатки пива и поливаю ими снег. Пиво пробивает себе ямку и стекается в нее, словно черная кровь. Я вообще ни хрена не сообщаю, что делаю. Знаю только, что придется теперь жить. Жить так, как жил раньше, но от этой мысли хочется ненавидеть себя, хочется убивать себя. Как теперь жить, как? Ради чего? Можно ли это назвать жизнью?

Зачем меня вытащили в финал, зачем пригласили сегодня? Только чтобы на фоне моей несостоятельности, моего ничтожества красиво смотрелись два новых гения? Ведь там, в длинном списке, были люди достойнее. Но они выбрали самого убогого, чтобы сомнительное решение разделить победу надвое выглядело безупречным: «Ну не “Буйному коту” давать же!»

Я шатаюсь, смотрю поочередно то вниз, то вверх, и еще раз: и-и-и вверх, и-и-и вниз, выдох! Везде пусто, совершенно везде. На автомате захожу в переход, нужно ехать домой, дальше шататься нет смысла. Я же не хочу умереть в сугробе, я не самоубийца. Нужно тащиться домой.

В вагоне нет вай-фая, я терпеливо дожидаюсь, пока доедет поезд. Делаю пересадку на синюю ветку. Мне всегда здесь было страшно, и я садился в последний вагон: ведь последний не взорвут террористы. Сейчас мне насрать: захожу в любой. Вай-фая нет и здесь. Отправляюсь в сторону «Марьиной рощи»,

и только на этой ветке, перед самой конечной, обнаруживаю вай-фай. Он нужен мне, чтобы забыться. Чтобы не заорать в метро.

Но даже в приложении «Новости» читаю: «Премия “Дебют” впервые разделена...» Мне хочется разжать двери поезда и вышвырнуться из вагона в черную ночь тоннеля.

— Суки! — кричу я. — Суки! Суки!

Приходит СМС от Юнны: «Я тебя очень люблю и жду дома».

На эскалаторе становится тошно. Хочется блевать, еще и вспоминаю свою гнилую речь, которую так и не позволили сказать. Да, думаю, это дерьмо, это позор, который теперь на всю жизнь со мною. Я настолько поверил в победу, что слишком рано стал ее праздновать. Но если бы я победил — был бы тысячу раз прав. Она звучала бы красиво, а не смешно, как сейчас. Она была бы торжеством моих нехитрых истин, за которые, гада, я сам готов себя теперь урыть. Закатать в бетон, паскуду, стереть с лица земли.

Эта церемония была лучшим моментом моей жизни. До того, как узнал, что я поганый лузер. У них, всех, кто сидел в зале, всех, кто стоял, всех, кто вручал и получал, — было в жизни *что-то еще*. Эта премия лишь часть их полных событиями, насыщенных жизнью, эпизод сегодняшнего дня, приключение. Но в году их ожидает еще триста шестьдесят пять приключений. Меня не ожидает ничего. Кроме этой надежды, у меня ничего не было. Только кредиты, только ненавистная работа, только люди, безразличные ко мне. И Юнна.

На «Марьиной роще», выйдя из метро, открываю последнюю бутылку. Подъехал ночной троллейбус, и водитель, молодая женщина, смотрит на меня с презрением.

«Полночный троллейбус, ты дверь отвори. Ты помнишь, как в зябкую полночь...» — всплывают в памяти строки песни, вызывая кривую усмешку: кто бы теперь помог самому московскому троллейбусу. Дожил до шестидесяти, пора

и на покой — скоро его подопрут молодые и борзые хипстеры-электробусы: о них рассказывают москвичам бесплатные газеты. Пока же вместо рогатых все чаще к остановкам нашего проспекта причаливали дизельные автобусы, и так было по всей столице. Маршрутки отменили вовсе, и я уже стал забывать, как мы тряслись в них сонными утрами — взявшись за руки, будто школьники.

Ковыряюсь в карманах в поисках карточки, переваливаюсь с ноги на ногу, теряю равновесие и хватаюсь за поручень, другой рукой еще крепче вцепившись в пиво. И все это время она смотрит, скривив рот. В троллейбусе пусто, и на остановке тоже. В целом мире мы одни — я да водитель троллейбуса. В детстве я и сам мечтал стать водителем троллейбуса. Был бы я рад, если бы та мечта сбылась?

Откуда ей знать, что я еду с финала «Дебюта», что я один из пятнадцати лучших молодых авторов России. Она думает, что я пьянь, обыкновенная ночная пьянь. И это справедливо.



СДАТЬСЯ — ЗНАЧИТ СПАСТИСЬ

Опять вспоминаю про футбольные команды. Меня словно зациклило на этой мысли, она кажется всеобъемлющей, проливающей свет на все события жизни и явления природы. Но отчего-то ее чудовищная, фантастическая необъяснимость, несправедливость с каждым глотком праздничного, заготовленного *на победу* игристого становится все отчетливей, все ярче.

— Ты не сдашься, — говорит Юнна.

И не понимает: ведь это и есть самое страшное, то, что я не дамся. Сдаться значит спастись. Пока не поздно еще, пока еще есть шанс. Что я могу сказать ей? Что буду как заведенный писать, вместо того чтобы обеспечивать наше будущее? Через

полгода я обещал ей ребенка, и прощай тогда я — меня тогда просто не будет! Изменить свою жизнь — никаких шансов.

Еще страшнее теперь думать про мать. Они с отцом, наверное, уже прочитали новости на сайте премии, где им популярно объяснили, что есть люди первого сорта, а есть второго. И если ты второго, максимум, на что можешь рассчитывать, это на то, что тебя ткнут носом в твой сорт и поелозят. Может быть, мать плакала; я даже не хочу об этом думать. В их семье никогда не было счастья, я был единственным, кто мог дать его, но в моей, похоже, счастья точно так же никогда не будет.

Юнна еще не говорит об этом, но догадывается. Она даст мне пару дней, чтобы прийти в себя, а после скажет. Она не знает, что теперь понадобятся годы, чтобы забыть об этом дне. Что он будет мне сниться — не каждую ночь, но регулярно, и прокручиваться в памяти, чем бы я ни занимался — всю мою оставшуюся жизнь.

— Моя жизнь никчемна, — кричу я и бью кулаком по столу. Кот убегает, испуганный. — Сломали! — кричу дико. — Эти суки меня сломали! Я ненавижу их!

— А как же я? — тихо спрашивает Юнна. — Ведь у тебя есть я. Ведь есть *мы*.

— Я мог бы изменить ее! Мог изменить свою жизнь! Мог. Мог! Надо было, сука, дрянь, лучше писать. Не туфту чертову, а нормальные, мать твою, сука, вещи! За которые дают премии!

За которые можно себя уважать, считать мужчиной, человеком.

— Ну а я то-что? — взрывается Юнна. Отчаяние клокочет в ней, перекидывается на меня пламенем. — Моя-то жизнь зачем? У меня, думаешь, есть хоть что-то хорошее? Мне есть во что верить?

Я замолкаю, но Юнну не остановить.

— У тебя хотя бы есть цель, — захлебывается она. — Хотя бы что-то есть. А у меня что?



ЛОГИКА ПРЕКРАЩЕНИЯ

Сегодня смотрел сюжет по второму каналу. В Союзе писателей России пополнение, приняли автора, который издал сборник стихов с помощью электронной программы, подбирающей рифмы и собирающей в строки слова. Правда, он это скрыл. Зато проставился, накрыл огромную поляну для писателей, их муз и секретарш. Поэтому членским билетом дело не ограничилось. Борису Сивко, как он себя сам назвал по начальным буквам от «бред сивой кобылы», сразу вручили и премию, названную именем поэта-классика. Без списков, сроков и прочих глупостей. Гулять значит гулять.

Видео расстроило меня. Мне всегда казалось, литература не та область, где нужно что-то делить, подличать, строить козни. Но писательство ведь такое занятие, где само явление профессионализма размыто, не имеет никакого четкого определения. Критерии, по которым тот или иной автор вхож или не вхож, определяются случайным совпадением: в таком-то году председатель жюри — один человек, и именно в этом году ты отправил что-то, и это что-то ему понравилось, а другому, кто был в прошлом году, например, или будет в следующем, не понравится никогда. Так почему же эти пробелы не восполнить деньгами? Будь у самого такая возможность, разве я не воспользовался бы ею? Думаю, было бы нужно — воспользовался, и безо всяких терзаний. Вот только зачем? Сколько бы ни платил, дутый пузырь все равно схлопнется, а настоящий талант останется. Только ему нужно время, очень много времени. Допустим, я проплачу себе членский билет в Союзе, что он мне даст? Ничего. Зачем тогда люди стремятся? Может, оттого, что ничего не понимают, не знают, что кроме Союза есть что-то еще, и уж тем более есть что-то круче? А вдруг, думаю я, может, везде точно так же, как в этом в Союзе писателей, только у них дешевле?

Догоренко, Медковский выросли в интеллигентных семьях, а я в ссаных дворах. Я понятия не имею, к кому в литературе подмазаться. Кому проплатить, кому просто понравиться. Я призрак, меня не замечают, даже если стоят рядом. Некто Владимир Померанцев, о котором я ничего не знаю, говорил, что в литературе главное искренность. И я как дурак не оставляю надежд выехать только за счет нее. Мне кажется, искренность — это как джокер, она побеждает тогда, когда остальных аргументов нет. И пусть она находится в тени в течение всего спектакля, в конце, под занавес, появляется на сцене и меняет все.

Осоловело шарю по интернету. Хочу участвовать в форуме молодых писателей, вспомнив встречу на книжной ярмарке, захожу на сайт фонда. Копаюсь в нем, неожиданно снова нахожу *знак*. Передо мною рассказ некоего человека, который пробовал себя в литературе, но обжегся и решил отдернуть руку. Рассказ правильнее назвать «Как я сдался», но не я его автор, он назван «Последний рассказ». Писатель, от лица которого идет повествование — неважно, насколько он сросся с автором, — ходил на какие-то курсы в провинции, где его произведения не хвалили, а произведения его соперника хвалили. Повинуясь благородному чувству, он и сам стал хвалить соперника, а соперник не торопился. В итоге пару раз и его вяло похвалили, но непонятно, из чего автор сделал вывод, что соперник пишет лучше, хотя они не участвовали в премии, и его не ставили на колени, а соперника на пьедестал, оба барахтались в одной луже. Осознав, что он вряд ли что-то еще напишет, писатель наконец признавался, что это его последний рассказ.

«Последний рассказ» был ужасно сверстан, сплошной кирпич из слов на сером унылом фоне — и совершенно не отредактирован. Владельцы сайта повесили его, не вдаваясь в подробности, не вникая в драму — ну прислали, и пусть висит. К публикации было ровно ноль комментариев. Будь обнародован рейтинг просмотров, результаты совсем удручали бы.

...За обрывом всегда оказывается пустота, за окончанием всегда следует точка. Чтобы объяснить пустоту, надо проследить за возникновением обрыва. Чтобы объяснить точку, мне придется рассказать о возникновении моего личного обрыва и, тем самым, построить мост над моей личной пустотой...

...Недавно я вдруг понял, что должна быть какая-то логика — логика прекращения, поэтому я включил, как когда-то, настольную лампу и сел писать свой последний рассказ...

...У каждого свой способ ставить решающую точку. Кто-то ложится в ванну и проводит бритвой по запястью, а кто-то пишет последний рассказ и продолжает жить...

Рассказ поразил меня парадоксальностью: что думал, что чувствовал автор, отдавая такой рассказ в неизвестный интернет-журнал? И тем, как отреагировало на него литературное информационное поле: не отвергло и не заметило. Жернова перемелют, пускай висит. Я подумал, что «Жернова» — отличное название для литературного журнала, если бы я его издавал.

Вечером сижу в баре. Конечно, хорошо, что имею возможность грустить именно *так* — в баре, а не, черт подери, в подъезде, как в прежние времена. Эту возможность дает мне моя работа, но вот именно от нее я думаю сейчас отказаться, потому что возвращаться туда стыдно. Однако придется, уже через каких-то три дня, и возвращаться с позором: Стократов замахнулся на нечто большее, чем прозябать в гнилом офисе, но кишка оказалась тонка. Говно ты, а не писатель — все как у Хармса. Только было бы так же смешно!

Юнна приходит после работы, и мы сидим вместе, пьем пиво. Рассказываю ей о том, как это вообще — писать, зачем это. Маленький такой ликбез. Она никогда не читала моих сочинений, я оберегаю ее: вот стану большим писателем, тогда можно, а так — идиот фигню пишет. Душевнобольной, не иначе!

Зато моя Юнна добрее, чем они. Возвращаясь домой, мы видим перед магазином таксу, привязанную к палке, которая торчит из асфальта, между машинами. Собака скулит, плачет, и Юнна опускается к ней, гладит, уговаривает: не бойся же ты, сейчас придут твои хозяева, сейчас все будет хорошо. И собачонка успокаивается, ластится к Юнниним рукам, целует их, благодаря за добро.

Вспоминаю жука, которого мы подобрали в пыли, на асфальте. Он странно прыгал, словно выброшенная на берег рыба. И вправду, Юнна сказала — это пльвунец, они могут жить только в воде. Как он оказался здесь, за километр от ближайшего пруда, у магазина «Пятерочка»? Мы поймали его в бутылку и принесли домой. Насыпали землю в тарелку, положили в нее листьев, налили воды. Всю ночь жук стрелюю носился в тарелке, то зарываясь на дне, то высовываясь на поверхность — подышать. А наутро мы принесли его на пруд и выпустили.

Вспоминаю ворон у нашего дома, их несколько с перебитыми крыльями. Скачут, клюют крошки с земли, а взлететь не могут. Когда такая была одна, мы думали кот, собака. Но, кажется, птиц просто кто-то пострелял. Помню, как Юнна спросила с отчаянием:

— Зачем это было делать?

— Не знаю, — отвечал я. — Просто у одного человека в жизненном наборе есть «стрелять ворон». У нас вот нет, а у кого-то есть.

— Почему не может быть так? Сегодня ранил птиц, и бог сразу наказал. Сам получил камнем по лбу. Чтобы знали, что так нельзя.

«Не это ли счастье, — думаю я. — И черт с ней, с этой премией, черт с ним, с Колбасинским и всей его чертовой свитой. — Когда птицы с крыльями. Когда за собакой приходит хозяин. Когда у кота нос мокрый — вот счастье. И когда у меня такая женщина, жена».

Черт, вспоминаю, на свадьбу ведь я тоже никогда не накоплю. Последний шанс реанимировать ее провален. И как мы теперь без свадьбы? *Кто* мы друг другу?

Приходят неприветливые хозяева, они забирают таксу и пытаются отогнать Юнну и меня: мол, кто вы такие, что вы делаете возле нашей собаки? Начинаю говорить что-то и задумываюсь: а *кто я такой*, действительно? Победитель премии «Дебют»? Нет. Еще пару дней назад я стоял, как обоссанный, единственный во всех номинациях круглый неудачник.

Это я. Ну так имею ли я право говорить что-то об их таксе? А о чем-нибудь вообще?

Дома крутится кот, нервничает. Юнна спит, накрывшись двумя одеялами, а я сижу перед ноутбуком, точнее перед тремя ноутбуками. Пьяный настолько, что счет дается с трудом. Я пишу письмо Сладниковой.

Здравствуйте. Прежде всего, хочу пожелать вам скорейшего выздоровления! Это самое главное, как бы банально это ни звучало (я вообще мастер банальностей, как поняли все члены жюри из моего черновика нобелевской речи).

Я считаю себя, разумеется, проигравшим, и именно с этой позиции пишу вам письмо. В премиях имеют значение те, кто их выигрывает, а не те, кто постоял несколько секунд на сцене и над кем посмеялись. Это жизнь, при том, что мне, как проигравшему, обидно, и при том, что у меня, разумеется, есть свои взгляды на то, как все должно было сложиться.

Ведь в принципе, если отбросить всю шелуху, мне сказали: вон из литературы. Мне сказали: таких, как ты, в литературе быть не должно. Здесь совсем другие ребята. И это правда — мне было глупо на что-то претендовать. Поверьте, я не переживаю из-за денег, для меня деньги не были мотивацией изначально. И для меня разница между финалистами и лауреатами никогда не определялась деньгами. Мне было понятно, что те,

кто выиграет, имеют право сказать: «Я — писатель», а те, кто нет, должны заткнуть свой рот. Именно так я и воспринимаю этот результат. Никто никогда не узнает, что я был, что я существовал, что я пытался что-то сделать.

От отправки этого письма меня спасет привычка редактировать. Я никогда не отправляю письма, не проверив их на грамотность, ошибки, даже если это СМС. Но в этот раз мне просто не хватит сил, я усну за столом, как в клипе поп-группы «Мускулатура», которую ненавижу.

Наутро я оставлю от письма только глупый фрагмент про скорейшее выздоровление, Сладникова писала, что лежит с простудой. Она обещает говорить обо мне в журнале «Новый свет», но этого не случится. Я напишу ей еще пару писем, но она никогда на них не ответит.



МОГИЛЬНЫЙ СПИСОК

Моя новая речь, которая никогда не будет произнесена, станет такой: вот, суки, мое место в литературе! Кажется, этого более чем достаточно. Никаких «молодых авторов» в ней не будет и близко, молодые авторы — справляйтесь сами! Литература — это жестокость, и в ней вам не поможет никакое, даже предельное отчаяние. Вам не поможет ничего, если вы не превратитесь в лом, который бьет эту стену методично, удар за ударом, монотонно, без пояснений и сантиментов. Только так. Против лома нет приема, вы наверняка слышали.

Я работал не только пером, но и ломом. Я сносил целые дома в Горьковской области, под вечер я подыхал, и мне казалось, что жизнь, наверное, закончится в тот миг, когда я усну. Жизнь продолжалась: ей не интересно, насколько тебе больно. Но, засыпая, я знал: ни один дом не устоит. Ни Сладникова,

ни Колбасинский — не устоит никто, если вы будете бить ломом в стену литературы.

Но здесь возникает вопрос, от которого не спрячешься. *Зачем?* Мы тратим так много сил, кладем жизни за пропуск в литературу. Но что мы выигрываем? Не победители, не короли элитных премий, а мы, странные ребята, сидящие во дворе, и вместо судьбы наркомана или отморозка мечтающие о писательской. У нас не будет другого наркотика, кроме этих премий, кроме литературных конкурсов и публикаций. Мы забудем о великих идеалах, смыслах, которыми наполняли свои книги, в борьбе за сам факт реванша. И когда он наконец свершится, мы будем уничтожены, разбиты. И совсем не будем счастливы.

Но вы сможете вспомнить, глядя сквозь разрушенные годы, потраченные на борьбу за право занять свое место в литературе, что *когда-то* вы хотели нести в мир идеи? И ветер примется трепать ваши волосы, если они еще будут, и вам останется прожить еще лет двадцать, и дальнейшие годы будут исчисляться все той же пустой борьбой: был в коротком списке такой-то премии, длинном — другой. При желании все эти списки уместятся на могильной плите, станут неким могильным списком. Prestижно ли попасть в могильный список? Почему нам не стать *кем-то другим?*

Ведь мы уже знаем. С позиций любви, наивности и надежды в литературу не попадешь. Нужно бить ломом, пока не сдохнешь, пока не падешь без сил. Но это если очень надо. А нет, так бегите отсюда, любите жен, растите детей, стройте бизнес или работайте в тихих офисах. Я живу с этой раной в сердце и буду жить всю остальную жизнь. Только в могиле истлеет боль. А если и *там* будет жизнь, то значит, и *там* она будет длиться. Нужно ли это вам, молодой автор? Не нужно.

Так знайте: я врал, все молодые авторы во Вселенной, в своей дурной и безвкусной речи, которую якобы посвятил вам. Не потому, что издевался. Лишь потому, что обманывался сам.

Ничего вас не ждет, никогда вы не будете счастливы, если только вы не избранные, кому всегда и везде зеленый свет. Но это разговор отдельный.

Вечером снова иду за пивом. Приятная женщина лет тридцати расскажет мне правила: объявлен новый конкурс. Купишь больше трех литров пива в неделю, получаешь специальный чек. И раз в месяц — внимание! — все специальные чеки разгрызают телевизор. Или же ящик пива, как утешительный приз.

— Ну что? — улыбается женщина, румяная, краснощекая. Вот это мой уровень. Здесь мне и побеждать.



БЕССИЛЬНЫЙ СТРЕЛОК И ГОРЯЩАЯ КРЕПОСТЬ

Юнка тем временем смотрит «Щелкунчика» в теплой своей комнате, укрывшись одеялом, взяв с собою яблок и апельсинов. Когда меня начинает тошнить от литературы, я захожу к ней в комнату и *причащаюсь* ее настроением. Я обнимаю ее. Она смотрит мультик в пятый или в шестой раз, и это только за последнюю неделю. Она хочет отгородиться от реальной жизни, понимаю. Реальная жизнь отвратительна.

Юнна поворачивается ко мне и игриво надувает щеки, как рыба-ерш. Это любимый прием: я никогда не сдерживаюсь, смеюсь. Ну как можно ее не любить?

Но сегодня она уже смотрит не так: в ее взгляде нет доброты, нет игривости, ее взгляд холоден. Совсем как в то время, когда я уезжал в Москву, и она, Юнна, сказала мне главные мотивационные слова:

— Мы больше никогда не увидимся.

То же самое сказала литература. Но Юнна ревнует к литературе, она не хочет, чтобы я был с литературой.

— Я устала, — говорит она.

Не знаю, что ответить. Я сам не просто устал, я сломлен. Я начинаю жить заново.

Есть такая игра на компьютерах, Age of empires II. В ней, чтобы подорвать чужую крепость, сначала подпаливаешь, поджигаешь ее с разных сторон. И она вроде бы загорается, то есть ты на верном пути: да, ты сумел к ней приблизиться, сумел, дерзкий, даже и посягнуть на нее, ну а дальше что? Это и есть главный вопрос на пути к победе. Вроде бы ты что-то, пусть самую малость, но все же сделал, и вот здание горит, и потушить его уже нельзя, такие правила игры. Но и сильнее оно не разгорится, пока не поспособствуешь. А ресурсов — армии, дров, золота, чтобы продолжать осаду, уже нет. Так же и все эти премии, они как будто стрелы, которые ты запускаешь во вражескую крепость. Их может и не хватить, а других стрел на руках не будет. Так и окажетесь вы друг напротив друга: бессильный стрелок и горящая крепость.

В последнее время я много пью, и мысли, что посещают меня, странны. Я стою, покачиваясь, у окна, и смотрю на деревья, кусты, что растут во дворе: «Вот разве то, что из семечка произрастает дерево, — это разве не чудо? Чудо. Вот ради этих чудес и стоит жить. Правда, не знаю, оценит ли чудо Юнна».

И тут же, стремительным ответом — другая:

«А то, что тебя оставили без премии? Это ли не является чудом? Нет».

Соглашаюсь. Признаю, что чудом является не любое действие высшего разума на земле, а только то, что радует мой глаз. Зеваю. Что мне теперь остается? Дожить до тридцати шести лет, потому что именно с наступлением этого возраста писатель в России официально перестает быть молодым. Думаешь, потом откажешься, забудешь. Если не добьешься до этого возраста, то и плюнешь на эту мечту, забудешь. Сможешь оттолкнуть от себя писательство, как ненужный мешок с хламом: мол, после тридцати шести сам бог не велел им заниматься. Захочешь избавиться,

поняв, что ничего в литературе не достиг, и вернуться к обычной жизни, где тебя хоть кто-то сможет любить. Но не тут-то было! Не сомневайся, сдашь последнее ради того, чтобы хоть на секунду, хоть на один сомнительный аргумент продлить свою жизнь как писателя. Но вдруг это все не получится? Тогда что? Эта мысль хватает за горло, не дает жить, не дает вырваться.

Зачем тогда это все? Никакая премия, никакой миллион не компенсируют испорченной жизни. Отныне моя задача как проигравшего — хотя бы сыграть на ничью, *на ноль*, как говорят футболисты. И хочется снова орать, ведь никакой Колбасинский никогда не поймет: он не был никогда таким, не стоял перед этим выбором. Он вышел, словно бог, на сцену «Дебюта» и походя разрушил вселенную. Столько лет, прожитых в муках. Ни грамма хорошего, ни сантиметра надежды, и лишь воспоминания, непрерывные воспоминания, и душит треклятая мысль: что же не ушел, что не бросил ему, Колбасинскому, что-нибудь в лицо! Ведь больше его не увидишь.

С Юнной все плохо, продолжаем ссориться. Это происходит каждый день, порой ей трудно даже просто говорить. Но она спорит, отстаивая правоту, и я знаю, что правота за ней. Скоро Новый год, самый паршивый из всех, что я встречал за жизнь; к нему нужно готовиться, покупать подарки, хоть как-то жить, и это самое отвратное во всей истории: «надо хоть как-то жить!»

— Хватит уже, — говорю, — Юнна! Вы теперь не такая, как раньше. Вы бы раньше меня поняли!

Я бы и сам прежде пытался изменить ситуацию, броситься под каток ее отчаяния, вытащить из него, но теперь я понимаю, что никакого отчаяния нет. Есть просто обычная новогодняя программа. Обыкновенная, серая, как и у всех, жизнь. Юнна не получает радости: программа, и хрен с ней с программой, думает, наверное, она. Настоящий Новый год может быть только вдвоем, наверное, думает Юнна, но и эту возможность мы, кажется, упускаем.

— Ты хочешь, чтоб я все забыла и вернулась туда, на Патриаршие? — спрашивает Юнна. — Там было прекрасно. Там мы были счастливы. Но все это кончилось и уже невозможно сейчас. Ты же знаешь.



И ТИШИНА

Такие ссоры были не единожды.

— Посмотри, как рушатся наши отношения.

— Я хочу писать! И закончу. После «Дебюта» моя жизнь подчинена одной цели. Отвоевать себе премию, это место. Я попал в эту западню. Еще несколько сезонов впереди. Я должен, должен, должен! Я не прощу себе, если не отыграюсь! Мне наплевать на все, кроме этого! Слышите! Мне наплевать на все!

— Пиши свои книжки спокойно! Добивайся успеха. Зачем нам жить вместе?

Я не до конца понимал, почему все пришло к этому. В последнее время вообще не думал о Юнне. Она просто была со мною как данность. Я добился ее когда-то, красивая сказка сбылась и незаметно закончилась, давно пошли титры, и надолго погас экран. А я так и не заметил. Нужно было как-то жить в условиях жесткого реализма, в условиях *бытовухи*. Но я все страдал о «Дебюте», все искал себе место, искал, чем занять, заткнуть эту дыру в сердце, хотя у меня ведь был смысл, и был *рядом со мной*. И каждое утро улыбался мне, желая хорошего дня, а я и не замечал, что улыбка с каждым разом становится все более усталой, дается все с большим трудом. Я начал жить один в тот самый вечер, когда отправил Юнну на такси. Она уехала, а я пошел бродить, ища для себя новые смыслы. Можно ли было прожить так всю жизнь, что нам оставалась? Разумеется, нет. Что-нибудь в ней изменилось бы, но что и когда, я не знал.

Я любил свою Юнну, но не мог жить ради нее, не мог дышать ею, как прежде. Писательское отчаяние охватило меня, как пожар, и выжигало в больной голове все. Пожар нужно было тушить, и я раз за разом использовал для этих целей пиво. Я кричал Юнне, что она не понимает меня, кричал, что моя жизнь разрушена, а Юнне всего-то и было нужно — наша маленькая семья. Ребенок. И тишина в доме.

Будет ли лучше, если мы расстанемся? У меня есть идеи для повести, для романа, для маленьких рассказов и даже пьес. Но каждый раз, когда я сяду писать, мне будет вспоминаться Юнна. Как она ждала меня, как отдыхал я уставшей своей душой в ее теплых объятиях! Как, выходя из подъезда утром, поднимал голову, а она махала мне рукой и улыбалась. А иногда мы выходили вместе, я брал ее за руку, и мы шли. Сонная Юнна могла поскользнуться, и я следил, поддерживал ее. Затем мы садились в троллейбус, и она отдыхала, прижавшись к стеклу, взяв меня за руку:

— Грей.

У меня будет лом, и я буду стоять с ним, как дурень, возле огромной стены. И не будет ни сил, ни желания, ничего. И не будет *другого*, что заменило бы мне лом и стену. Может быть, мне захочется броситься к каждой девушке, женщине, на которую упадет взгляд, и кричать:

— Спаси меня! Я ведь не просто так, я могу, я умею писать книжки. У меня вон в журналах вышло...

Хотя проблема решается просто: всего тридцать пять тысяч рублей в месяц. Если в Москве, но можно и не в Москве. Чтобы было где спать, где писать. Вот что страшно. Я всегда был убежден, что любой человек в мире должен быть обеспечен минимумом: крышей над головой и хлебом. И с этой стартовой позицией уже соревноваться с кем угодно и за что ему угодно. Промотаться всю жизнь в поисках тихого угла, так ничего и не успев другого, есть ли в этом какой-нибудь смысл?

«В Гонконге побит рекорд стоимости парковочного места, — читаю в журнале. — Прошлогодний максимум цены за место для одного авто составлял 664 тысячи долларов США. А теперь 760 тысяч долларов». Вот так, думаю я, осмысливая писательские будни, вот так. Других мыслей нет.

Я чувствую себя рабом своего писательства, которое единственно чем может наградить — этим *счастьем* быть его рабом. Очень сомнительным счастьем. Но ничто другое не приносит так много радости. Нет ничего приятнее известия о публикации. Попадания в список премии. Эта радость несравнима ни с чем, на земле нет второй такой. Это чувство целостности, правильности жизни, своего единства с нею, исполнения того, что *должно быть*. Жаль, что оно мимолетное, его хватает лишь на несколько секунд, а дальше — снова лом и снова стена, будто во второсортном квесте: миссия пройдена, короткий ролик просмотрен, и вот ты опять один на один с собою.

Про жизнь сочинителей тоже придумали квесты. Вот, например, американский Novelist. Драматургия игры построена на том, что нужно сохранить семью и одновременно написать книгу. Немолодой усатый гражданин в простой рубашке бросается от одного к другому, постепенно решая проблемы, возникающие то там, то здесь, но проблем становится все больше, а сам он все мрачнее, и все отчетливее вырисовывается перспектива оказаться погребенным под ними. При множестве возможных финалов у этой игры очень мало счастливых. Сам я не знаю, в текущей моей ситуации как-то не рождается желание играть.

У Юнны никогда не будет птицы, которая ей приглянулась. Не будет ее и у меня. Как не будет никогда другой «победной речи», интервью, известности, встреч с читателем. У меня будут только стена и лом. Стена может рухнуть, но будет ли лом счастлив? И будет ли счастлив тот, в чьих руках был лом? Разве что тот, на кого он работал, для кого он сносил эту стену.

Все дело в том, что пока ты гробишь жизнь, вооружившись ломом, счастье всегда будет позади тебя, за твоей вспотевшей от черной и неблагодарной работы спиной. Но если решишь утереть пот, бросить лом и повернуться лицом к счастью, ты никогда не узнаешь, что там — за проклятой стеной, когда она, наконец, рухнет.

Поделюсь предположением. Скорее всего, там ждет пустота. Писатель живет и творит, *чтобы его любили*. Но если вас любят и так — пока еще любят! — подумайте десять раз: зачем вам тогда писательство, этот мертвый груз, тянущий вас на дно? Выбирайте, молодой автор, думайте. Успехов желать не буду. Я никому не желаю их, кроме себя самого. Хотя и знаю, что мне не светят успехи. Все, кого я *обошел* тогда, всего лишь несколько лет назад, давно впереди меня. Теперь у них книги, им дают свет, не мне. Знаете, как пел Высоцкий, «ведь мы же в очереди первыми стояли, а те, кто сзади, уже едят». В литературе так.

Так какая же разница, кто кому и чего желает?

Извините. Я не был таким, но стал. Кто скажет о таком честно? Кто-нибудь из соискателей крупных премий? Кто-то из писательских тусовок? Из литобъединений, плодящихся как на дрожжах? Из социальных сетей, испещренных восторгами друг от друга, восхищениями друг другом? Пожалуй, никто не скажет. А я скажу.

Я никому не желаю успеха.

«Я чувствую тоску, но я часто забываю, о чем она, потом я вспоминаю, что меня мучит пароход, который всегда круто поворачивает от островка и бежит к противоположному берегу. Мне надо, чтобы он остановился у моей пристани. Я умираю оттого, что пароход не хочет подойти к пристани!»

Л. Авилова

Писатель Георгий Стократов малоизвестен в литературном мире, если не сказать не известен вообще. За всю карьеру достижений — пара книжек, пара выступлений с микрофоном перед парой человек, пара вторых и третьих мест в паре второстепенных премий. Однако шесть лет назад у Стократава был шанс заявить о себе в полный голос. Неизвестно, как сложилась бы судьба писателя, если бы жюри премии «Дебют» для начинающих авторов сезона 2014 года не приняло решение наградить всех соискателей номинации «Крупная проза», за исключением него. Этому событию посвящена новая повесть автора, которая так и называется — «Дебют». Ее содержание Стократов поясняет коротко: история поражения. Наше несуществующее издание, выдуманное самим автором специально для этого интервью, поговорило с Георгием о писательских мечтах, публицистических опытах, о смерти, любви, работе, и даже — представьте! — о природе и животных. Не обошли вниманием и само событие, положенное в основу повести, которое могло изменить, но не изменило жизнь. Потому что если бы это не сделало наше издание, этого не сделал бы никто и никогда. Мы хотели озаглавить интервью иначе, но впечатление, которое производит Георгий в общении, породило другой, как теперь кажется, более точный заголовок:

Д

БЕСЦВЕТНАЯ СТОРОНА

||

О ЖИЗНЕННОМ

— За все время, что занимались писательством, вы не давали интервью, в то время как некоторые финалисты разных сезонов того же «Дебюта», как и вы, не отметившиеся ничем, кроме финала этой премии, словно гуру раздают советы начинающим авторам и делятся историями успеха. Вам не обидно, что у вас берут именно такое интервью?

— А вам не обидно, что вы берете свое единственное интервью именно у меня?

— Наше издание маленькое. Мы пишем о лузерах. Эта идея когда-то принадлежала Дмитрию Лыкову. Помните, в старой еще «Русской жизни» он рассказывал, что с кем-то из писателей задумывал журнал «историй неуспеха», который так и назывался — «Лузер»? С соответствующими рубриками: «Как мне не дали», «Как не приняли на престижную работу» и так далее. Дмитрий Лыков, как мы знаем, фонтанирует идеями, но не имеет времени на то, чтобы их реализовать. А мы подхватили упавшее знамя.

— Подхватывать упавшее — вполне неплохо для лузерского издания. Вы знаете, у меня была даже мысль сделать интервью с самим собой и включить его в новую повесть. Но это, конечно, совсем чокнутая идея. Фактически это означало бы конец, то,

что ты уже никогда не поднимешься. Если только тебя кто-то поднимет, как вы свое упавшее знамя.

— **Давайте начнем так. Как писатель вы фактически совершили самоубийство.**

— Мне никогда не хотелось известности за счет того, что я, скажем так, говно. Это модно, это легко. Я хотел известности за счет того, что напишу сильные, стоящие вещи, которые оценят. И я их написал, но их не оценили. «Дебют» я написал не для известности.

— **Зачем вам вообще была нужна литература?**

— Понятия не имею, зачем мне литература. Никогда не обожествлял ее, никогда не считал занятием, которое можно было бы включить в список самых важных человеческих дел. Тем более в том виде, в каком ею занимался сам. Но есть некоторые смыслы, истории, а главное, акценты, которые обязаны существовать и которыми никто не занимался, кроме меня, никто не работал с ними. И до сих пор уверен: то, что я делал в литературе, уникально. Приемы, ходы могли повторяться где-то еще, быть интуитивно заимствованы, но идея и ощущение жизни, акценты, расставленные в моих работах, были и остаются уникальными.

— **Вы утверждаете, что есть более достойные занятия, чем литература. Но при этом так зациклены на том, что не имеете достаточно возможности ею заниматься.**

— Это действительно так. Какое бы место я ни отводил писательству в жизни в целом, в моей оно главное. Это мое. Я всегда воспринимал писательство как последнее прибежище, отходить

из которого просто некуда. Когда в семнадцать лет мне говорили на работе, что я хреновый мерчандайзер, у меня был спасительный отход: на самом деле я не мерчандайзер, а писатель. Вот если бы вы мне сказали: хреновый писатель, тогда да, а так, мерчандайзер какой-то. То же было и в тридцать, когда я работал в журналах, пресс-службах. Я считал: пускай мне говорят, что я какой угодно сотрудник, но главное, что, отработав необходимое, я получу драгоценное время и буду писать. Но когда наконец сказали, что я хреновый писатель, тогда я понял: отвода нет. Теперь в моей жизни наступает главный вопрос: как с этим примириться. Но этого уже никто не узнает, потому что никто этим не заинтересуется. Даже ваше маленькое издание.

— **На сайте одной из библиотек писали, что ваша проза резкая и злая, в ней много эпатажа.**

— На самом деле я всегда стремился сделать так, чтобы читатель сопротивлялся этому материалу, его природе, содержанию, и я считаю, это получалось. Когда задача эпатажа — пробудить сопричастность, а не сопротивление, это противно.

— **Вы публиковались во вполне разных, порою противоположных изданиях: и в консервативных, и в либеральных, и в радикальных, контркультурных. Это ваша позиция?**

— Для контркультурных журналов я вполне системный писатель. Круто, когда андеграунд проникает в классическое поле, эти эксперименты оздоравливают, придают свежести мейнстриму. Но есть и обратное движение, что встречается куда реже, когда что-то из традиционного поля проникает в андеграунд, и это гораздо круче. Для классических «толстяков» и издательств наоборот, я в чем-то радикален, в чем-то непонятен. Но то, что я публиковался в настолько разных изданиях, мне приятно.

Потому что у каждого издания своя сложившаяся аудитория, и, как правило, они не пересекаются. И я для каждой смог что-то сказать, и находил как это сделать. При том, что пишу я, в общем-то, одно и то же и об одном и том же.

— **Вас заботит, графоман вы или нет?**

— Заботит только по отношению к истине. Чье-то мнение — это не истина. По всем формальным, внешним признакам я писатель, а не графоман: у меня изданы книги, меня печатали в солидных журналах, я околачивался на задворках премий. Но действительно ли я писатель по отношению к истине? Этот вопрос должен задать себе не только я.

— **Какие еще вопросы беспокоят вас сегодня?**

— То, что по-настоящему волнует человека, — это всегда заноза, которая зудит и от которой нельзя избавиться. То, что во мне зудело, то и стало основой прозы. Это бесчеловечность в любом виде. Ну и вопросы смерти, конечно. В том числе и страха смерти. Чем больше живешь, тем больше он становится главной и порою единственной мотивацией не только для литературы, а для любого занятия, требующего погружения в мыслительный процесс.

— **Если бы можно было выбирать, где и как умереть, что бы выбрали?**

— Спокойно, незаметно отключиться. Уснуть, как будто давно не выспался. Знаете, хочется, чтобы была возможность лечь на землю, свернуться калачиком и сказать: все, я готов. В ботаническом саду, где много цветов, или среди руин древнего Херсонеса, там, где выжженные кусты и белые улитки. Конечно, в глубокой старости.

— **Что бы вы хотели изменить в мире?**

— У меня есть один рассказ. Там идет речь о птицах, которым отбивают клювы, потому что эти клювы можно где-то продать и получить за это копейки. И вот птица с клювом набирает каких-то рыбешек, жует их и кормит птицу без клюва. Заходим в интернет, читаем новости. Псу отрезали нос и три лапы. Это настоящая новость, одна из многих. Вот человек отрезает псу нос. Представим его: как он может выглядеть, что он может думать, чем он может еще интересоваться? В какой-то российской области собак не усыпляли, а сжигали вместо того, чтобы содержать их в приюте, кормить и наблюдать, просто чтобы сэкономить средства, которые бюджет на это выделял. Как можно потратить деньги, полученные таким способом, на что? Человечество должно решить в первую очередь такие проблемы, остальное второстепенно.

— **Но ведь не только животные страдают.**

— Да. Все эти безумные, бессмысленные теракты, когда на улицах давят людей, режут! Кричат страшные слова во славу смерти и убийств. Человеческая жизнь гаснет, это же страшно. Смерть против жизни — вот суть, основной мотив теракта, смерть восхваляется, утверждает себя руками восхваляющих. Когда люди на стороне смерти, это противоестественно. Люди должны быть на стороне жизни. Ведь со стороны смерти никто не сражается за нас, за людей, за жизнь.

Какой-то бедный американец закрывался от выстрелов пластиковыми пакетами — кто-то просто захотел пострелять и при этом снимал. А ему нечем больше было закрыться, только пластиковыми пакетами, потому что это все, что у него было. Немотивированные убийства сплошь и рядом. А ведь убивается целый мир, неповторимый человеческий мир. Ради чего?

Понимаете, человек пакетами хочет защититься от летящих в него пуль. Это необходимо осмыслять. Все это тоже должно быть литературой.

— Смерть в прямом эфире, смерть, снятая на телефон, смерть в социальных сетях — все это плотно вошло в культуру повседневности. Вам не кажется, что все это уже воспринимается как нечто нормальное, наоборот, противостоит возмущению этим?

— Первое такое видео я посмотрел в 2007 году, когда девушка упала между вагонами в Петрограде, на станции «Невский проспект», и ее раздавило. У кого-то появилась запись с камер, и он выложил ее в социальную сеть. Там были тысячи комментариев, тогда это было еще не так распространено, удивительно. Кто-то писал про девушку, кто-то про машиниста, кто-то про пассажиров, кто-то про Путина, но никто не написал, что вообще-то это неправильно: выложить на всеобщее обозрение последние секунды жизни человека. Помню, я был поражен этим. Видео с изображением смертей в любом виде и по любым причинам должны блокировать, запрещать; будь у меня известность и рычаги, я добивался бы этого.

— Вы всерьез считаете, что это один из важнейших вопросов в сегодняшней жизни?

— Не только он. Вот, например, в Америке женщина попала под поезд и отказалась ехать в больницу, потому что у нее не было денег на лечение и страховки. Она не могла ни стоять, ни идти, но уговаривала не вызывать скорую помощь. Вот главные вопросы сегодняшней жизни. Нужно бороться с бедностью человека. Отсюда, от нее все проблемы. Потом уже

можно заниматься толерантностью, свободой слова и всем прочим. Извращение — это не геи и трансгендеры, а то, что сексуальная ориентация или цвет кожи в современном мире важнее того, что человеку нечего есть. Любое государство должно заботиться о том, чтобы человек не имел возможности упасть на самое дно. Заставлять бизнес заботиться об этом, потому что неконтролируемый бизнес нацелен на то, чтобы отнимать у человека, а не давать ему. Вообще же, важнейший вопрос жизни — незащищенность. Не только в социальном смысле.

— **Что вы имеете в виду?**

— Незащищенность жизни на Земле. В одном фильме есть трогательный эпизод, когда девочка говорит матери или сестре: потри мне ногу перед сном. Такое простое проявление человеческой нежности и человеческого единения. Это бесценные ощущения, мгновения, на которые жизнь берет свое, потому что жизнь, она ведь изначально проигравшая. Все заберет смерть, и маму, и девочку, и ногу, и эту нежность. Помню, я шел на ВСХВ и смотрел на красивого жука, он пересекал пыльную дорогу. Проехала машина — и все, не стало жука. Чудовищная незащищенность человека, да и вообще живого существа, от зла и смерти — тема многих моих рассказов, по крайней мере, я старался.

— **Чего бы вы хотели для себя, а не для мира?**

— Больше всего мне хочется, чтобы к моменту, когда смерть окажется неизбежна и уже не останется времени что-то доделывать и переделывать, моя жизнь создавала впечатление логически завершенной, имела начало, продолжение и конец, была пройденным, а не прерванным путем.



О ЛИТЕРАТУРНОМ

— Вы бывали на разных собраниях молодых писателей. Что запомнилось?

— Запомнилось, как популярная женщина-критик из журнала «Ноябрьск» попросила донести чемодан до машины — то ли ее, то ли ее знакомых, там довольно большое расстояние было. И вот когда я остановился, закинув чемодан в багажник, чтобы услышать спасибо, а там было много людей, мне, конечно, наплевать на их спасибо, но есть ведь правила приличия. Никто из них мне ничего не сказал, на меня даже не смотрели. Помню, когда шел обратно, подумал: я носильщик — вот, собственно, итог моей литературной деятельности.

— Зачем вы ездили на эти форумы?

— Только с практической целью: получить там что-то важное, полезное технически. И мне нравилось читать неизвестных авторов, то, что я никогда не прочел бы при других обстоятельствах. Правда, потом надоело. Встречаться с теми же людьми, но уже без мастеров и обсуждений, я не желал никогда.

В определенный момент я понял, что пресытился всем этим, что, читая работы других авторов перед обсуждением, уже заранее понимаешь, кто, что и про кого скажет. Многие авторы годами мотаются по этим семинарам, а мне кажется, что неизменно настает время, когда это нужно прекращать. Для каждого, думаю, свое, но пропускать его не стоит.

Однажды мне довелось даже вести семинар у студентов. И мне в целом понравилось, но вот потом, в раздевалке, я встретился с известным автором, редактором журнала, который сам вел у меня семинар прежде, и рассказал о впечатлениях.

Говорю, я никогда не стремился к этому и не планировал кого-то там чему-то обучать. И он мне вдруг отвечает: так ведь и я не планировал, и я не мечтал об этом. На меня его слова произвели большое впечатление, я подумал, что ведь и вправду, ведут семинары далеко не авторы первого ряда, не те, у кого слишком успешно сложилась собственная литературная жизнь. И я, не успев ничего добиться, не успев ничего понять толком, уже перехожу во вторую категорию. Когда сам, по сути, отработан и все, что можешь, — передать аудитории азы, о которых она пока, всего лишь в силу молодости и неопытности, не догадывается. Нет, мне не нужна такая роль.

— Много ли пользы вообще дают мастера, которые руководят такими семинарами?

— Нередко случается, что они в чем-то неправы, не понимают вещи, кажущиеся очевидными. Некоторые вообще плохи и несимпатичны, если говорить откровенно. Таких мало, но есть. Но эти люди единственные, кто любит дело, которым ты тоже занимаешься. Других нет.

— Ваша новая повесть, как вы утверждаете, последняя, автобиографична и посвящена финалу премии «Дебют». Чем это событие было для вас?

— Премии важны не как признание, а как начало. Понятно, что нельзя сравнивать «Дебют» и «Большую книгу». Вторая — это признание уровня, первая — признание обоснованности намерений. Это первая лига, победа там дает выход в высшую, где ты не факт, конечно, что удержишься, но поражение, тем более такое ошеломительное, как мое, гарантирует упадок и прозябание. Выиграй я, во мне бы точно не проснулась гордыня: мол,

жизнь удалась. Это означало бы, что я теперь смогу спокойно взять тему, проработать ее, заняться чем-то более серьезным, нежели то, что писал раньше. Имея возможность передохнуть от других дел и имея шанс, что на плоды этой работы потом обратят внимание, ведь от победителя уже не отмахнешься как от навозной мухи.

Один критик сетовал, что очень много хороших тем остаются без внимания писателей просто потому, что те о них не знают, эти события происходят на периферии, в них нужно вникать, изучать. Чтобы куда-то поехать, нужны деньги, нужно время, нужны жизненные силы, нужна надежда на то, что опять-таки, это может быть замечено. Ничего этого у проигравшего писателя нет. Собственная фантазия в стесненных творческих условиях — единственный доступный инструмент.

— Финал премии — это разве плохо?

— Сам по себе финал премии — просто эпизод. Плохо то, каким образом я остался в истории, а так или иначе, я в ней остался. И глупо думать, что никто этого не вспомнит, не узнает об этом. Я был единственным за всю историю этой премии, кто ее проиграл. Была задача продемонстрировать всем, что Догоренко и Медковскому не с кем бороться, я там был для этого. Специально выбрали самого слабого, чтобы на моем фоне эти двое смотрелись королями. Я не успел еще ни с кем познакомиться из этого литературного мира, никому не успел сделать зла, не перешел дорогу, а меня посчитали возможным и правильным положить на лопатки, растоптать. Судьба, которая уничтожалась этим действием, никого не интересовала вообще.

— Особое место в вашей истории занимает Сладникова.

— В одном журнале Сладникова бодро рассказывала о поддержке даже тех, кто не попал в длинный список. Представляете, автору чего-то не хватило, чтобы попасть в сотню, и с ним связывались, объясняли ему чего. Потому что литератор без поддержки угасает, пафосно объясняла она. Мне показалось это лицемерием. Я слова доброго от нее не услышал никогда, меня для нее не существовало, хотя я присутствовал в коротком списке. Ни в одном интервью она не упомянула меня, нигде, хотя постоянно расхваливала Медковского и Догоренко. В «Дебюте» следующего года она уже не дала мне шанса, а потом «Дебютами» уже стали заниматься другие. Так что любое упоминание Сладниковой где бы то ни было причиняет мне жуткую боль. Наверное, так будет всегда.

— Падающего — подтолкни. Так устроен весь мир. И почему вы считаете, что так не должен быть устроен литературный мир?

— Все просто: потому что он литературный! Во всех сферах жизни допускается фальшь и гадость, как у тех же менеджеров, хотя и не у всех, я скорее имею в виду общий фон, потому что они изначально работают с фальшивым материалом. Но у писателей этого не должно быть, потому что они работают с самым важным.

— Почему бы и не быть просто писателем? «Одним из», не претендующим на вершины.

— То есть никем? Мелкий, непризнанный писатель, особенно в возрасте — это, как правило, брюзга, клоп, что в социуме, что в литературе. Это неизбежный путь развития такого человека. Мне уже тридцать пять. Опасное время. Лучше я напишу один «Дебют» и уйду с этой вонючей дороги.

— **Говорят, человек сам виновен в собственных неудачах.**

— Я соглашусь с этим во многих сферах жизни, в том числе и применительно к себе. Но как я могу быть виноват в том поражении, если никак не мог на него влиять? За меня решили, кем мне дальше быть. Я мог только сидеть и ждать.

— **А вы делали достаточно для того, чтобы быть заметным?**

— Как ни смешно, но я воспринимал свое писательство еще и как бизнес-проект. Я даже не открывал журналы со своими публикациями, да и собственные книги тоже. Перенаправлял их сразу на премии, отсылал в библиотеки, и так далее. Иногда участвовал в платных премиях, совал свой нос всюду. Вложишь тысячу, получишь три — уже хорошо. За все время своего так называемого писательства я заработал около двухсот тысяч рублей. Я имею в виду именно литературой. Но все это не способствовало известности. Ведь писатель — это тот, о ком говорят. Пока говорят, он есть. Обо мне не говорили никогда, меня никогда не было. Как ни выворачивай душу перед этими людьми из литпроцесса, хоть разрежь грудь и вырви сердце перед ними, их ничем не проймешь. Это глухая стена.

В отличие от читателя, кстати. Я не раз встречал свои публикации в личных подборках читателей — один прочитал 300 книг за год и включил мою в «двадцатку». А с другой стороны, есть такой обозреватель Подлунная — она рецензировала многие журналы, в которых я публиковался. Бывало, с маленькими рассказами, бывало, с повестями. Она никогда не замечала моих публикаций, нигде. Доходило уже просто до абсурдного, когда мой роман вышел как главная публикация номера, она обо всех рассказала, кто был в прозе, кроме меня. И так было каждый раз. «В номере можно

прочитать прозу...» Перечисляются авторы, а в конце списка уточнение: «и др.» Собственно, вот кто я — ИДЫР. Идыр современной прозы.

II

О НЕРАЗДЕЛЕННОМ

— **Неизбежен простой вопрос. Вы ни разу не задумались, что ваше поражение было справедливым? Может быть, нужно лучше писать, а не завидовать?**

— Все взаимосвязано, и отрицать то, о чем вы говорите, нельзя. Да, это и зависть тоже, я весьма завистливый тип. Но эта боль во мне настоящая, и причину ее не нужно путать со следствием. Дело не в том, что я не получил премию, а в том, что я единственный, с кем они посчитали себя вправе так поступить. Не считаю, что имел право на все премии, которые получали другие. Но точно имел право не испытывать этой боли.

— **Могут ли одинокие люди вообще быть писателями? У всех есть друзья, какие-то группы поддержки в литературном мире.**

— Хороший вопрос. Я пришел к выводу, что этот финал, который случился со мной, и есть самый максимум, которого может достичь человек нелитературного происхождения, одинокий человек без друзей в писательском мире. Конечно, это не придает сил.

— **Вам не кажется, что все это похоже на неразделенную любовь?**

— Разумеется, это неразделенная любовь. Классика. Кто-то пишет о разрыве с девушкой, а я — с литературой. Уже к тому

возрасту, когда начал писать прозу, я знал о неразделенной любви все, и теперь прекрасно понимаю, что это она и есть, то, что я чувствую. Только в случае с девушкой есть шансы — встретить другую, например, а в случае с литературой нет, она одна. Мне было стыдно за то, что я это я, а не Медковский или Догоренко, я бы хотел родиться ими, а не собой. Потому что, по версии этого мира, то, что я написал, туфта в сравнении с тем, что создали они. И, конечно, их жизни лучше. Они просто были, в них был «Дебют», в них были победы. Это останется навсегда, это не перебить ничем. Они пережили триумф.

Да, меня не полюбили. Думать иначе глупо. Моего кота забили гвоздем, заклевали попугаем. Говорят, что окончательно неразделенная любовь уходит через пару лет, у нормальных людей через полгода. Как по мне, хуже всего именно то, что она вообще уйдет. Жизнь начнет нравиться просто так, потому что это жизнь. Но вспоминать перед смертью на старости лет, что она могла быть совсем другой, если бы все не решила секунда, когда из трех имен произносили два, — вспоминать это, конечно, придется.

— Почему вы последние силы бросили на заведомо проигрышную повесть «Дебют», когда еще был шанс успеть написать что-то «для премий»? Вы надеетесь, что из-за нее разгорится скандал?

— Уверен, она пройдет незамеченной, как и все, что я когда-либо делал. Этой повестью я подвожу итог тридцатипятилетней жизни, а это в лучшем случае половина человеческого существования, итог, прямо скажем, скорбный. Я положил жизнь, чтобы получить премию «Дебют». Эта повесть может быть прочитана молодыми людьми такого же склада и схожей допремиальной судьбы. Я не советую вам участвовать в премиях, вам может быть очень и очень больно. Верьте в свои первые работы

и любите их. Не спешите узнавать, что о них думают Сладниковы и Колбасинские.

— **Принято считать, что первая книга пишется на отчаянии, но никак не последняя.**

— Отчаяние усиливалось с каждым годом, пока не стало совсем невыносимым. Вот как это выглядит. Сидишь, пытаешься писать, борясь с дебютом, с осознанием своей беспросветности, и видишь, как раз за разом выныривают, как чертики из табакерки, новые победители. И с ходу — он на Олимпе, а я бьюсь в одну и ту же стену много лет, и никто не видит. За ними есть фигуры, которые их двигают, делают это не скрывая. Победители подходят, благодарят их, они кивают. А я вот не могу представить себя в роли писателя, к которому подходят. Я бы не испытывал ничего, кроме неловкости, оказавшись для Всезлукова, провинциального парня с Урала, или богемной петроградской девочки с фамилией — станцией метро эдаким благодетелем. Вчера они были никем, а сегодня звезды, непререкаемые авторитеты, столпы новой литературы. Они не бились, не знали отчаяния, не видели препятствий, не убивали годы жизни на работу. Им нужно было только появиться. Столько разговоров о литературной судьбе, хотя какая к черту судьба, нужно оставаться честными — тебя в социальной сети прочел авторитетный писатель, и вот ты звезда. У тебя папа известный художник, внешность роковой красавицы — ты звезда. А я не хотел бы вершить чужие судьбы, да и почему я должен это делать, если вчера еще сам был никем и другие люди вершили мою судьбу?

— **Но ведь вы не отказались бы от легкой славы для себя?**

— У меня тоже была постоянная надежда, что случится нечто необычное, кто-то поможет. «Это не может быть случайно»,

говорил обо мне хороший писатель Курчатов. Ему понравился один рассказ, чем-то запал в душу, а остальные нравились меньше. И вот, он любил повторять: это не могло быть случайно, имея в виду то, что я написал такой рассказ. Но в самой ситуации уже заложено обратное; эти слова так и пахивают тем, чтобы вспоминать о них в подворотне, потеряв все, и сожалеть: «А ведь говорил “не зря”! Сам Курчатов говорил! Так почему же моя жизнь не удалась?»

— **Вот так и прощаются с надеждами?**

— Да, тихо, медленно, постепенно. Это как будто дышишь отравленным воздухом. Стоишь и смотришь в окно: как проезжает монорельс, которого через год не будет: столичная мэрия уже определила его под снос, а поезд ползет медленно, вырывает из-за домов. А рядом бодрые электробусы под осиротевшими троллейбусными проводами. Вид с балкона — вот что это такое, прощание.

С каждым месяцем, с каждым днем я становился все дальше от мечты. И, к сожалению, я так и не получил ответа на свой главный вопрос: стоило ли все затевать тогда, стоило ли писать? Я был в финале, но провалился под землю, ниже земной коры, и теперь, понимаете, ни тот, ни тот ответ не будет правдой. И зря, и не зря. Я не знаю. И не узнаю никогда.

||

О ЛИЧНОМ

— **Как это все влияет на личную жизнь?**

— Разумеется, отрицательно. Моя подруга жизни присутствовала на церемонии того «Дебюта». И ей тоже объяснили, что Медковский и Догоренко лучше. Зачем мне тогда заниматься

этим, а ей терпеть? Объяснение найти сложно. Объективно, женщине, конечно, требуется совсем другое. Помню, как ехал в троллейбусе и бил кулаками по стенке между дверью и задним сиденьем. Я чувствовал отчаяние, я понимал, что у меня ничего не получится, что бы я ни делал, все двери для меня закрыты. И она так испугалась, что рядом какие-то люди, а я так себя веду, хотя я ударил всего пару раз. Мы начали снова ссориться. Ее мало интересовали все эти переживания, дебюты, мечты какие-то. Ей нужно было только одно: чтобы я каждый день ходил на работу, был прикреплен к одному какому-то месту, чтобы быть спокойной.

— Напрашивается вопрос: почему вы нашли себе подругу не из мира литературы, не из так называемой творческой среды?

— Многие мужчины любят рассуждать о выборе между красивыми женщинами и умными. Есть женщины хорошие, но литература интересуется их в последнюю очередь; найти же в женщине интерес к литературным делам с сохранением порядочности, какой-то жизненной устойчивости, последовательности, спокойствия и доброты — нереально. Я много общался с литературоцентричными, скажем так, девушками. С ними очень хочется разговаривать, пить, проводить время, но не жить вместе.

Я думал так очень долгое время. Но надо сказать, после «Дебюта» мне не хватало именно такого общения, не хватало параллельного переживания с кем-то похожих вещей. Но ведь всем интересны победители, девушкам особенно, а после финала «Дебюта» мне было стыдно представляться людям в литературной среде. От меня воротила нос даже редактор Качалова, опубликовавшая мою первую книгу, сборник повестей.

— **Это вообще была странная история, с изданием книги у Качаловой.**

— Да, книга вышла раненой, с огромной раной в моей повести, одной из лучших. Из нее исчез кусок, скорее всего, удаленный случайно, что не было никем замечено. Качалова даже не отвечала на письма. Я писал, что извините, 68 000 знаков потеряно при верстке книги по вине издательства, полтора авторских листа. А она, почти дословно: ничего страшного, что вы приехали, мы всем правки вносим. Я ей пишу: какие правки, 68 тысяч знаков! Больше половины повести, абзац обрывается на полуслове! Но для нее это нормально, вот так издавать книги. И даже не помешает впоследствии успешно работать в главном издательстве страны.

— **Как отреагировали на «Дебют» ваши родственники, знакомые?**

— На моего отца первое время сильно действовала магия цифр, то, что из 60 000 соискателей «Дебюта» я попал в число пятнадцати, он даже каким-то образом заужал меня. В финале ты не победил бы, сказал он. Там же Киев, Израиль — «наши» своим не дадут. Такое мнение. Но чем больше проходило времени, тем яснее ему становилось, что это случайность, туфта. И постепенно он стал относиться ко мне так же, как и раньше: ну идиот же, пишет чего-то там. Оно так и есть, идиот. Если бы критик сказал что-то одобрительное, или дали премию, можно было бы сказать: не идиот я, а писатель. А так — идиот, конечно. Кто же еще?

Бабушка, добрая душа, говорила: хотя бы всем на троих дали; ей восемьдесят лет, ей кажется, так справедливо. А друг Тоха из Петрограда, с кем мы когда-то читали стихи и рассказы друг друга, прислонившись спиной к теплой батарее подъезда,

сказал: вообще, писателей немного, так что каждый успеет получить свое. Я возразил: 60 тысяч только подали заявку на «Дебют». Но его не впечатлило: ну вот, в России 60 тысяч активно занимаются писательством, чего-то в этом смысле хотят. Это включая и графоманов, и сумасшедших. Они же все на новом стадионе в Петрограде поместятся. В масштабах страны это капля в море. Когда-то я обещал Антону, что, если стану известным, выберусь в другой мир, непременно затащу и его туда. Но оказалось, что и самому-то не затащиться, да и мир этот не так уж прекрасен, ни от бедности, ни от отчаяния он не спасет.

— **Изменилось ли с тех пор ваше отношение к роману, с которым вы вышли в финал?**

— Не изменилось. Я горжусь, что написал «Буйного кота», замечательное произведение, лучшее произведение молодого, начинающего автора в том сезоне: Медковский не был начинающим и близко. Вы знаете, при определенных обстоятельствах оно могло бы стать горьковской городской полулегендой, такой, как «Альтист Данилов» стал для отдельных районов Москвы. Определенные моменты, как я уже теперь понимаю, написаны совершенно по-стивенкинговски, только на русском региональном материале. И этот шар тоже мог выскочить. Но не выскочил ни один, не сложилось, просто не узнали. Я до сих пор считаю свой роман недооцененным. Обидно недооцененным.

— **В литературной среде часто можно услышать, что премии не главное.**

— Да, когда я учился в школе, читал классиков, то никогда не думал: а какую премию получил такой-то? Докуда доходил другой в каком-нибудь сезоне? Такой вопрос просто в голову

не мог прийти. Но теперь все, конечно, не так. Одна победительница поздних «Дебютов» поучает отсеянных соискателей: писательский успех совсем не важен, я не гналась за ним, он сам пришел. Но зачем поощрять тех, кому успех не важен? Поощрять нужно тех, кто не мыслит себя иначе как писатель. А что писатель сегодня как не совокупность премий, в которых он участвовал? Премии не просто главное, премии — это, по сути, единственное, что оправдывает и придает смысл.

Трагическая составляющая премиального процесса в том, что он сталкивает лбами не две-три разные работы, а несколько картин мира — того, чем человек живет, как он понимает жизнь. И чья-то жизнь, чье-то понимание оказываются достойными поощрения, а чьи-то нет. Но разве я трачу меньше усилий? Разве то, что я вкладываю, менее важно? Помимо этого, специфика вознаграждения за писательский труд, к сожалению, связана с гадливой необходимостью надеяться на чьи-то деньги, перераспределенные кем-то в твою пользу. Только никто не говорит об этой гадливости, а может, и не видит ее. И уж тем более не признается, что ради этого работает. Я говорю просто потому, что у меня нет ни единого шанса рассчитывать на какое-то перераспределение в мою пользу. Будь оно, я бы сидел молча, открыв рот. Пока не капнет.

— Но ведь в литературной среде, как и во всех остальных, неизбежна смена поколений. Не думаете, что в этом может быть ваш шанс?

— Действительно, надо сказать, что за те годы, что прошли с дебюта, сильно изменился не только сам мир, но и литературный, и премиальный мир. Но в этом нет совершенно ничего обнадеживающего. Старые премии уходят, но то, что приходит на смену, еще хуже. Мне не жаль старых премий, именно они не дали мне стать писателем, но я буду вспоминать

их с ностальгией. Хотя они еще дышат, все понимают, что скоро они уйдут. Может быть, в каких-то останутся прежние названия, но на места жюри, экспертов, ридеров придут другие люди. Молодые, новые.

Есть первая ласточка — новая премия «Фикция», самое чудовищное, с чем мне приходилось сталкиваться. Она существенно отличается от всего, что было раньше, — прежде всего подходом к тексту, к восприятию, к идее. Молодые девочки и мальчики с гейфрендлиабьюзивгазлайтфеминистической повесткой с ухмылкой твердят в окне Zoom'a про мою прозу: «ну, это депрессия, это мне неинтересно». Чем не литературоведческий критерий для сегодняшнего дня — «это депрессия»? Ты посмотри внутрь, сними верхний слой. Но нет. Чтобы нравиться этим девочкам и мальчикам, нужно быть: а) красивым, б) метаироничным (мета, непременно мета!). Они не услышат криков боли, просьб о помощи, просто потому что так устроены: им нужна игра — удобная, комфортная игра. Реалистической прозе они оставят только три темы — про хосписы, гендерную идентичность и угнетение женщин быдло-мужьями, при этом женщины должны быть прогрессивными, иначе их не жаль. Новое поколение устроит в литературе такой тоталитаризм, который не снился критикам прошлого, и уже ничего не пропустят живого.

Сегодня моя повесть выглядит как текст об уходящем. Я уже вспоминаю с ностальгией вас, не давшее мне шанса старшее поколение. Но вы были люди, вам на смену идут роботы.

Смотрите, покинут сцену титаны и глыбы вроде Сергея Чуприна, а их места займут редакторки с розовыми волосами, у которых только две реакции на мир: ок и не ок. Если ты, начинающий автор, считаешь, что литература — это крик, боль, вопль, что есть люди, о которых никто никогда не скажет, и жизнь, о какой никогда не узнают, если этого не сделаете вы — у вас нет шансов. Грядущая литература редакторок — литература

безразличия и к ним, и к вам. Грядущая литература — это глобальная премия «Фикция». Я увидел ее только краешком глаза.

— **Вообще, какие у вас отношения с другими писателями?**

— Какие могут быть отношения? Мне никогда не были интересны писатели. Ну как одной розетке может быть интересна другая розетка? Розетке интересен ток, интересна вилка, интересно напряжение. Все писатели на самом деле автономны, дружба может быть между людьми, а не между писателями, личная, совсем не основанная на писательстве. Другое дело, что эта дружба на распределение писательских рангов имеет серьезное, не определяющее, но все-таки серьезное значение.

Мне не интересно членство в союзах, организациях, сообществах. Меня приглашали в три союза, но я отказался, потому что считаю, что союз — это объединение единомышленников, людей, смотрящих в одну сторону, имеющих что-то общее. У меня нет с ними ничего общего, я чужой для них всех, я ни с кем ничем не объединен. Я нигде себя не чувствую своим и ни в ком не вижу единомышленников.

Но нужно сказать и о том, что один из союзов выплатил мне небольшую стипендию — а мне очень нужны были деньги, я работал над документальной книгой, и других источников дохода в то время просто не было. Я благодарен.

II

О БЕСКОНЕЧНОМ

— **Что это за ощущение — когда сдаешься?**

— Когда ты сдаешься, это похоже на вирус. Какое-то время еще понимаешь и борешься, как будто превращаешься в зомби,

а потом все это просто становится твоим сознанием. Это и страшно, потому что как бороться с тем, что становится тобой? Уже не с чем бороться. Прежними ресурсами ты уже не обладаешь, все они вдруг становятся направленными на тебя. Будто у тебя есть армия, которая изменяет, переходит на сторону врага. Поэтому сказать «я никогда не сдамся» — легко. Но только когда это в твоих силах. Ты потому и сдаешься, что это происходит незаметно. В один миг понимаешь, что мыслишь и живешь иначе, и вернуть себя даже в исходную точку невозможно, не то, что продвинуться куда-то вперед. А чаще и не понимаешь.

— **Выходит, сдавшись, можно освободиться от «Дебюта»?**

— Хороший вопрос. Для меня само слово «дебют» стало синонимом вот этого состояния. Именно его я и называю дебютом, именно его вынес в название повести. Дебют — это мертвая часть меня. Когда я отправляюсь куда-то делать банальные и совсем не важные вещи, вроде живой, вроде на эмоциональном подъеме, вдруг проявляется во мне это мертвое, и я отчетливо ощущаю: все мое живое против него не имеет совсем никакого значения. Мой дебют омертвляет всю остальную жизнь. Порой я представляю, что, спиваясь, больной и умирающий, я буду кричать и бить себя в грудь: «Дебют» был мой! Мой! Но те, кто будут рядом со мной, никогда не поймут, о чем я. Они не будут знать всех этих слов. Они вообще будут знать мало слов. Ну и правильно, слова — пустое.

— **Вы не боитесь сумасшествия?**

— Конечно, мне хочется избежать его. Когда я находился в одиночестве, то часто шептал: литература, если ты хочешь, чтобы я продолжал, дай мне хоть что-нибудь после стольких лет мук.

Дай мне знак, говорил я. А она отвечала: у тебя нет выхода. Я признавал: да, я погибну. Но и ты ничего не получишь от меня, говорил я ей. Все, что мне нужно, я получаю минимальными средствами, а возможно, все, что нужно было от тебя, я получила. На твои премии мне плевать, на успехи и так далее. Мне плевать и на твою жизнь, если что. Но я защищала тебя от бессмысленности, от страха. А теперь делай что хочешь. Ты никогда не узнаешь, зачем это было нужно, ты ведь читал где-то: самые важные и нужные дела человека — это те, последствия которых он не увидит? Я никогда не видел последствий, и, если честно, это совсем не радует.

Я служил литературе, но все-таки я не раб. Она ничего не предлагает, а просто берет в плен: либо я, либо ничего — вот ее условия. Здоровье, любовь, успехи в других областях, счастье, перспективы — все это летит к черту. Обо всем думаешь: потом, потом, вот только бы закончить рассказ, роман, повесть. А потом приходит еще что-то, и это никогда не заканчивается.

— Если бы представилась возможность, вы бы что-то изменили в своей жизни?

— Знаете, там, на финале «Дебюта», была такая красивая лестница, от сцены и к самому выходу, и на ней, вдоль стены на маленьких стульчиках сидели люди, которым не хватило места в зрительских креслах, там же кто-то из писателей сидел, и Сладникова тоже. Когда меня не назвали, по правилам я был обязан убраться со сцены, сесть обратно на свое место, чтобы не мешать победителям, но я был в таком оцепенении, что ничего не смог сообразить. А потом, когда вспоминал, понял: нужно было уйти прямо со сцены, сразу после объявления. Мимо Колбасинского, ведущего, Сладниковой, зрителей, по этой темной лестнице. Выйти в светлый холл, к фонтану, забрать Юнну, сказать ей: «Делать нам здесь больше нечего».

Я крепок задним умом, а тогда был совсем беспомощен. До сих пор не могу себе это простить. Я должен, обязан был уйти по этой лестнице, тогда, в 2014-м.

Теперь, сколько бы всего я ни написал — хоть килограммы бумаги, вся их толщина не перевесит легкого, точного, совершенного жеста, каким мог бы стать мой уход по той лестнице, додумайся я до него в тот вечер. Уходить из литературы нужно было так.

ВНУТРЕННЯЯ СОЦСЕТЬ. ЗАПИСИ ИЗ ВРЕМЕННОЙ ПЕТЛИ

ЗАПИСЬ 1, 29 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА

В последний год его стали неожиданно много публиковать. С охотой брали лучшие толстые журналы; чуть ли не каждый месяц, а то и несколько раз, выходили новые рассказы. Вот только издательства по-прежнему отказывали или молчали.

В сонном октябре он съездил на форум «Ставрида», крупный творческий слет в Крыму. Под шум неторопливых волн кричал в микрофон, взволнованный:

— Почему вы не пускаете в короткие списки? Почему не поддерживаете авторов, которые попадают в длинные?! Не рекомендуете их издательствам, не рассказываете о них! Не пора ли менять совет экспертов, ведь он у вас каждый год один и тот же?

Шел последний год его надежды на вхождение в литературу, оставался последний «Дебют». Ему было уже все равно, он говорил что хотел. За экспертов ему досталось: зашумели недвольные голоса.

— Я отношусь к вам с уважением, — парировал он, и это было так; ведь на тот форум не приехали ни Сладникова, ни Колбасинский. — Но это несправедливо, когда одни и те же люди из года в год решают, быть мне или не быть. Дайте мне шанс у же, черт побери! Что мне еще сделать?

Может, он выглядел как нигилист. Эдакий нигилист-индивидуалист. Несправедливо все у вас, не уставал он повторять, несправедливо.

Он обратился в издательство скромное, неизвестное, издал книжку скромненьким тиражом: тридцать копий, лишь для отправки на премии. Книгу сделали стильно, красиво, с картинками, она получилась симпатичной, визуально притягательной и совершенно злой, бескомпромиссной. Продавалась она из рук вон плохо, ни о книге, ни об издательстве никто ничего не знал. На что могла рассчитывать такая книга, на что мог надеяться ее автор?

На что-то мог. Он попросил двух уважаемых людей разрешить поместить на обложку их цитаты о его прозе. И разрешение получил. А третий уважаемый человек даже помог с выдвижением и безо всяких просьб, сам сочинил рецензию. «Я желаю вашего взлета», — написал он ему в соцсети.

Весной 2020-го, когда до краха всех надежд оставалось каких-то три месяца, он увидел себя в длинном списке премии «Большая книга», главной литературной премии страны. Через шесть лет после того «Дебюта», через бесконечных шесть лет! Радости не было предела. Он не ожидал такого, не рассчитывал на такое; он хотел бы такого, но совершенно такого не ждал. О нем говорили на презентации списка, его хвалил тот самый эксперт, которому он, трепещущий, чуть не кричал о справедливости под шум утренних крымских волн.

Крым, Крым любимый, родной золотистый Крым!

А спустя чуть больше недели, целых две его подборки оказались в длинном списке премии «Дебют». «Будет соревноваться сам с собой», — написал иронично координатор премии. Что эксперты хотели сказать ему этим? Что он будет в коротком списке, что не надо переживать? Что ему представится шанс в жизни, новый, последний шанс? Стать лучшим? Или гордо уйти по лестнице, не желая видеть чье-то торжество? Повторится ли история?

А может, они издеваются на прощание? Нет, только не теперь. Не в этот раз. Не в мою смену, как говорили в той, прошлой жизни. *Эта смена* должна была стать *его*.

Все эти шесть лет — были ли они зря? Можно ли считать их главной ошибкой жизни или весь этот труд, все это страдание, мрак наконец обернутся реваншем?

Он отвел себе несколько дней, чтобы не думать об этом. Предаться чистой радости, просто наслаждаться. «Большая книга»! Это был успех. Об этом знали, об этом читали. Ему перестали вдруг ставить лайки коллеги — молодые писатели, и если раньше его посты собирали штук пятнадцать, теперь не доходило и до трех, хороший знак! Единицы, считанные единицы из тех сотен людей, с которыми он ездил на форумы, собрания, совещания, из тех, кого хвалили там и поощряли, не замечая его, из всех, кого печатали крупные издательства, кого хвалили взახлеб надменные и странные филологические девушки — из всех них единицы попадали в длинный список «Большой книги». А он там! Он попал. Это высшая лига, высшая лига, хотя бы на один сезон. Он чувствовал себя не Коста-Рикой, он чувствовал себя «Тамбовом», футбольным клубом «Тамбов».

Получит ли ответ теперь — стоит ли он чего-нибудь? Ведь даже теперь, когда его книга среди сорока главных в сезоне, о нем не пишут, не интересуется, на книгу нет рецензий, его не приглашают никуда; его по-прежнему как будто нет. Но кажется, что это ненадолго. Что нужно только подождать, дожидаться. Какие-то недели, дни. Он делает упражнения, тягает каждый день гантели, рычит от напряжения, сопит, хрипит и думает: вот сейчас, вот сейчас! В стране коронавирус, нельзя надолго выходить из дома, так что еще остается? Только тягать эти гантели, только вечером пить вино, представляя, убеждая себя: вот оно, рядом. Новая книга, которую он написал, оказалась удивительно созвучна этим странным карантинным дням; зачастую сюжетом, но в основном настроением, атмосферой. Жизнь принимала черты его прозы, и никуда было не деться от мысли, не слишком-то и радостной в масштабах самой жизни, но столь приятной лично для него: эта самоизоляция, как

называют ее официально — на его стороне, *за него*. Это новое время, его время, *таким вот* оно пришло. Могли они быть другими, его торжество, его успех, его победа? Могли бы они выглядеть иначе? Он улыбался: такая изоляция устраивала, такая пандемия не страшна. И даже премию, думал, будут вручать виртуально, через какой-нибудь Zoom; что может быть лучше? Не нужно будет строить из себя черт знает что, писать черновик речи, можно будет остаться собой. Хотя и готовиться нужно — предусмотреть любые, даже самые невероятные исходы. В короткий список «Большой книги» попадают до четырнадцати авторов — не вручат же первое место тринадцати, ну?

Но это потом. А пока отдохни, дорогой друг, наслаждайся. Начинается новое время; время, которого ты не знаешь, о котором можешь только фантазировать, мечтать. Время, которое будет интересным, ласковым, внимательным к тебе. Начинать о нем думать, начинай готовиться. Какой теперь «я бросаю»? Какие монетки, какие пустые аллеи, какие голоса, ну что они там шепчут — в правое ли ухо, в левое; разве имеет это все значение теперь? Писатель — это тот, кто не бросил, вспомни, так на крымском форуме говорил один успешный (правда, не писатель) человек. Твоя история не может закончиться неинтересно! Твоя история будет продолжаться. Ты сделал для успеха все, приложил все силы, какие мог в себе отыскать. И сейчас успех должен прийти. Придет.

И он отдыхал, он наслаждался, он радовался. Он чувствовал счастье, впервые — *литературное счастье*. Но на нем нельзя останавливаться, нельзя довольствоваться им. Это не победа еще, не реванш, это просто этап, просто приятная, очень приятная новость. Но не последняя. Его битва, его шанс, его выход будет короткий список. «Большой книги»? «Дебюта»? Обоих?

Ведь не может же автор из длинного списка «Большой книги» не войти в короткий «Дебюта» — лигой ниже, лигой начинающих? Вот если бы его вообще не было в длинном списке «Дебюта», можно было считать: «перевели на другой уровень», избавились от него так. Но он там есть, и с целыми двумя подборками! Такое не бывает просто так.

А значит, его ждет шанс, ждет признание! Он достоин их, он выстрадал их, заработал — своими трудом и терпением, своим преодолением, которым жил все эти годы: от одного финала до другого. Тсс! За молчи, замолчи, замолчи, не думай! А может быть, и двух других. Да, двух других финалов! Только, ради бога, тсс!

Он улыбался. И даже волнуясь, нервничая, он отчего-то знал: на этот раз все будет хорошо.

ЗАПИСЬ 2, 20.05.2020

Само написание слов «двадцатое мая»
представляет из себя как бы взрыв
черемухи и сирени. <...>
и клубника земляника пахнущие впереди

Э. Лимонов

Ну вот все и закончилось. Прошло всего лишь несколько недель. В последнем «Дебюте» меня нет. Они просто посмеялись на прощание — с этим длинным списком, с этими в нем *двумя мною*. Но я не хочу. Не хочу больше думать о них. В моей жизни мне больше не стать первым. Не отыграться: этот май оставит тот декабрь незакрытым, навсегда.

Как человек, который в длинном списке «Большой книги», не попадает в короткий «Дебюта», премии рангом ниже? Как это? Не понимаю.

Если тебя нет в коротком списке, тебя никто и не видит. Никто не знает о тебе. Даже длинный список «Большой книги»,

главной литературной премии, не интересен вообще никому! В каком же состоянии у нас литература, мы, писатели, все мы? Но я о себе; а мне остается только смириться с безвестностью. Так жить, существовать я не хочу. Вся моя работа, все эти годы жизни, борьбы, отчаянной надежды, веры в чудо были зря. Я окончательно проиграл, все было напрасно. Все оказалось напрасно, незачем, ни для чего.

«Большая книга»? Когда объявят список там, все будет буднично. Вот как это случится.

В понедельник я остановлюсь у сирени и буду долго искать пятилистники. На это уйдет полчаса, но почему-то я буду уверен, что если найду пятилистник, то войду в короткий список «Большой книги». И я его найду. Потянусь за ним, чтобы сорвать, но подумаю, что делать это совершенно незачем, что лучше пусть он растет на дереве, чем зачухнет в моем кармане или дома на столе. Но уже возле дома я замечу новый куст сирени. Он растет за забором школы, и некоторые ветки переваливаются за забор. Что-то притянет меня, и я подойду к кусту. Ничего не ища, первым же взглядом я обнаружу три пятилистника — на одной ветке, рядом друг с дружкой, а чуть выше еще один, и еще. Пять пятилистников! Я не встречал такого никогда. А рядом, на соседней ветке — шестилистник. Шесть лепестков сирени на одном цветке! Я подумаю: природа подарила мне такую удивительную красоту за то, что я не тронул первый пятилистник, не сорвал его. Достану телефон и сделаю несколько кадров. «Я буду в коротком списке, — подумаю я, и забьется сердце. — Теперь все получится».

На следующий день будет вторник. Я выпью пузырек валерьянки, заглочу несколько таблеток. Короткий список будут объявлять онлайн — не в ГУМе, а в Zoom¹, как шутят организаторы. Я посмотрю фото сирени в телефоне, поцелую на экране каждый пятилистник. Я открою фото сирени на ноутбуке — с яркими, сочными цветами сирени, и поверх фото, в верхнем

углу будет окошко «Зума». Успешный победитель прошлых премий споет под гитару, я закрою глаза, буду слушать. «Теперь успокойся, — скажу я себе. — Ты будешь там, ты возьмешь свое. Тебя выперли из “Дебюта” только потому, что перевели в высшую лигу».

«Зачем тебе писательство? — проговорю я перед зеркалом еще с утра. — Нужно знать ответ на этот вопрос уже сейчас. Если ты будешь в этом списке, ты станешь заметен, тебя увидят». И я отвечу: «Я заслужил это, заработал. Я хочу быть писателем, чтобы иметь возможность говорить то, что сейчас не слышат. Чтобы поддерживать правду, чтобы искать истину. Чтобы занять наконец свое место в жизни, чтобы быть защищенным от других мест. Чтобы жить наконец. Чтобы начать жить. Мне нужно начать жить, я ведь не жил никогда, я только был в шаге от жизни. И этот шаг, который случится теперь, — он последний. Он будет сделан».

И вот крупный литератор, обласканный всеми, начнет говорить, предвеляя список, что эта премия помогает авторам преодолеть писательское отчаяние. «Так вот же я, вот, — закричу я внутри себя. — Если кто и в отчаянии, так это я, я! Пожалуйста, пусть оно уйдет, исчезнет, это отчаяние. Я не могу больше с ним, я ведь не смогу больше». И другой, спокойный голос внутри меня ответит: «Не беспокойся. Все будет лучшим образом на этот раз. Пришло твое время. Дождись его».

Я запишу слова на салфетку зеленой ручкой, купленной на счастье. Ею я отмечал в ежедневнике: обратиться в издательство, упомянуть «Большую книгу». А теперь напишу на салфетке, вслед за обласканным литератором:

«Преодолеть отчаяние».

Список будут зачитывать долго. Назовут фамилию, похвалят книгу, зададут каждому автору вопрос. «Не бойся говорить. Не бойся отвечать, — буду убеждать я сам себя. — Ты для этого столько лет жил и работал, чтобы выйти, сказать, чтобы

тебя слышали». Но меня не будут называть, я стану считать позиции списка: первый автор, второй, третий...

Максимум пятнадцать, но столько не будет. Восемь как минимум, но, скорее всего, где-то десять. На счете семь я поднимусь, достану с полки свою книгу и поцелую ее. Я положу на обложку руку, держа в ней зеленую ручку, а другую — на салфетку со словами про отчаяние. Объявят номер восемь, девять, десять. Я буду чувствовать, как течет пот, как трясет тело, как бешено колотится сердце. «Помогите мне, — зашепчу я пятилистникам на экране, — помогите мне, пожалуйста. Я люблю вас, я верю в вас».

«К этому моменту я, если честно, думал, что мое литературное сражение проиграно. Это был мой последний шанс, и решалось не просто, попаду ли я в список, а останусь ли в литературе вообще». Эти слова я отправил себе на почту — для пресс-конференции с финалистами. Если попаду в финал, скажу их. Это главное. А если не попаду? Нет, попаду, попаду обязательно. Все не может быть зря, шепчу я себе, все не может быть зря, помогите мне, пятилистники, я работал, я жил, я мечтал, я страдал, помогите, я не хуже Всезлукова, который уже в финале, я не хуже его, я лучше его, я лучше него точно. А он уже там. Проиграть пошлым байкам Всезлукова, этого черта из табакерки — Господи, ты ради этого не мог прийти в литературу, биться лбом ради этого столько лет? Должна же быть гордость! Одиннадцатый автор, двенадцатый, сейчас, ну сейчас я, сейчас буду, тринадцатый! Много, много, много, очень много уже книг, фамилий, и только моей, только меня нет.

«И это последняя позиция в списке».

...Я не верю, что не заслуживал после того рокового дебюта хотя бы один финал, хотя бы единственный. Я заслуживал. Заслуживал больше многих, кто был там, кто побеждал. Я талант; я знаю, что талант. Я знаю, что нужен, что полезен; пробиться бы, достучаться, но нет! Не пробиться, не достучаться.

«В городе начинают снимать троллейбусные провода — вместо отжившего свой век городского транспорта, так и не снискавшего популярности среди современных горожан... в ближайшие дни начнется демонтаж проводов, ранее обслуживавших маршруты шестого троллейбусного парка...» Заголосили, закричали новости в соседних окнах — какое-то местное СМИ поспежит возвращать меня к жизни — но я с яростью захопну их: ну какое теперь дело до троллейбусов, до проводов? И поделом им!

Еще немного я побарахтаюсь. Отправлю письма в издательства, надеясь, что длинный список как-то сможет помочь. Не сможет. Мне будет нечего подать на следующий сезон, мне больше нечего предлагать миру. Никто не ответит. Может быть, я услышу, что длинный список «Большой книги» — сам по себе успех. Вот только что с ним делать, я так и не узнаю, и никто не подскажет, никто не поможет мне. Меня как никуда не звали, так и не будут звать, как не обсуждали — так и не начнут обсуждать, как не печатали в тех издательствах, книги которых читают и замечают, так и не напечатают никогда.

Я не прощу себе эту жизнь. Не прощу себе эту молодость, которая теперь уж окончательно закончилась. Не прощу, что поставил все на одну карту. Может, это и было единственное, что мог. Но не прощу, все равно не прощу за это. Не прощу, что давно не знаю, что такое любовь. Не прощу, что больше никому не буду интересен, да и не был, что никто не интересен мне.

Я стою и думаю: ну допустим, все? Говорю себе: ну допустим. Но что полезного ты теперь сделаешь? Ну вот кроме этой литературы, что ты можешь сделать, какую прожить жизнь? Разве ты станешь ментом, врачом, моряком, пожарным, программистом? Нет же, нет, уже никогда. Ты можешь стать грузчиком или пойти протирать штаны в офис — вот и весь диапазон грядущей новой жизни. Или писать всякую дрянь, зарабатывать на жизнь копейки тем, что пишешь без ошибок, — это умение

становится все дешевле. Что в этом будет хорошего? Где бы ни был, куда ни приткнулся бы, результат твоей деятельности все равно будет говном. Никому не нужным бесполезным говном, и только.

Нет, отвечаю себе зло, заткнись. Главное — все. Главное — с этим покончить. Захлопнуть все страницы всех возможных книг, раз и навсегда. Это главное, а то, что потом, — неважно. Хуже не будет точно.

Будет.

Я сказал отцу, я похвалился перед ним длинным списком «Большой книги». Я знал, что это может быть против меня, что нельзя раньше времени хвастаться. Но это было для него, не меня. Пока объявят короткий, мало ли что случится. Отец плох, мне хотелось его порадовать. Он порадовался.

Ну а я? Остались ли у самого эмоции? Пожалуй, их хватит только закончить повесть. Она начиналась как яростная, она кипела, бурлила, страдала. Ну а закончится так, и пусть. Какое значение имеют эмоции? Имеет значение результат. Мой результат в сухом остатке — это премия «Дебют», в которой больше не принять участие, никогда. Closed. Какие тут могут быть скидки? *Они* это знали. *Они* знали: это мой последний шанс.

Вот отстой, дерьмо собачье, чертово дерьмо. Что еще можно сказать при беглом взгляде на мою жизнь? Ничего. Я больше ничего не буду в ней менять. Буду ждать следующей, в которой можно что-то сделать. Переиграть, отыграть, выиграть. Эту нужно просто дожить. До встречи.

ПРОТОКОЛ ЛИТЕРАТУРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ, ПОСВЯЩЕННОЙ ПОВЕСТИ Г. СТОКРАТОВА «ДЕБЮТ»

Не понимаю, как в этой области можно строить иерархию. Тексты разных людей имеют разную природу. Сравнить их на основании того, что они выходят в виде книг, это все равно что сравнивать пиво, ацетон и коктейль Молотова на основании того, что все эти жидкости разливают в бутылки.

В. Пелевин, из интервью

Д

«Писатель — это в первую очередь скандал, и лишь затем все остальное. А то, что мы сегодня обсуждаем, не писатель, а копирайтер, пролетарий умственного труда. Еще Сиорана приплел к своему корыту. В “Дебюте” он объясняет нам фактически на пальцах, почему решение не давать ему в свое время премию оказалось более чем правильным. Писатель проверяется временем, и такие, как автор этой повести, проверку не проходят. Оттого и бесятся.

Слава литературному богу, члены жюри наших молодежных премий еще не окончательно выжили из ума»

*Никодим Лилиенталь,
исполнительный директор
ЗАО «Асбест», просветитель*

Д

«В “Дебюте” демонстрируется отнюдь не новый, но доведенный до крайности тип писателя, который клянчит. Это некрасиво. Грань между автором и персонажем фактически стерта, но это никак не назовешь задумкой — не то, что мастерской, но и вообще какой угодно. <...> И если уныние грех, тщеславие тоже, то и писательство должно быть грехом; ведь что оно, как не уныние, помноженное на тщеславие? Это грех в кубе. И этот грех простителен, только если он талантлив. Но это не случай данного автора, которому упомянутые качества с лихвой заменяют художественный вкус и чувство меры»

Скорей Мордобий, литературовед

Д

«В литературе есть тип авторов, которые решают отринуть все земное ради великого. Перед нами обратный случай — игнорирование великого и растворение остатков себя и читателя в лучшем случае в приземленном, а если говорить начистоту — то вовсе в низменном. Но довольно скоро становится ясно: наш повествователь просто не способен видеть великое, его поле зрения — не следствие выбора, просто таков предел возможностей. <...> Разумеется, все это смешно переводить в плоскость обстоятельного разговора о наградах, ведь обывательских премий не существует. Медковский красив, статен, интересен. Стократова же так и хочется спросить: а вы-то кто?»

Измерия Невставая, критик

Д

«Что ни говори, а повесть ценна тем, что никто еще прежде не писал книгу о литературной премии. И при всей сомнительности этой единственной ценности “Дебюта”, мы теперь знаем,

как видит молодой писатель премию, как пространство писательства соприкасается с единственным доступным на сегодня пространством его инициации, как они окисляются, реагируя друг на друга...

Путь молодого автора к этой инициации, согласно этой повести, — путь крота, постоянное копанье вглубь, вслепую, сырое и обреченное. И пускай далеко не все молодые авторы видят общую картину в тех же красках, что рассказчик, отдельные моменты в ней верны для всех — в надеждах, тревогах, трепете при открытии списка, при выходе на сцену вместе с молодыми коллегами... Стыковка “Молодой писатель — Премия” для всех одна, пусть здесь она и подана в столь убогой и завистливой форме. Но прецедент есть, а позже найдутся другие авторы, которые расскажут нам об этом по-другому...

Перед нами не попытка приговора литпроцессу, не развенчивание мифов о нем, не выведение кого-то там на так называемую чистую воду. Это частная история отдельного человека... Конечно, мы видим смещенное целеполагание: человек считает премии конечной целью литературного занятия, и с такой концепцией не хочется мириться. С другой стороны, и отрицать ее можно лишь с сытых, великодушных позиций: когда получил десять премий, легко и приятно уступать кому-нибудь одиннадцатую. Эту повесть будут кусать тем злее, чем больше регалий и достижений у самого кусающего.

Но честная история проигравшего — не такой уж освоенный жанр в современной прозе.

Разумеется, тот же Медковский в силу таланта справился бы с задачей лучше, но у него другое амплуа — победителя, любимчика взыскательной литературной публики. Ему ли писать о поражениях?»

Роман Засвечен, писатель, критик

Д

«Этого писателя, вместе с его “Дебютом” и, чего уж греха таить, остальными публикациями, хочется скорее позабыть. Да вот беда, его никто и не помнил. Пожелаем молодому еще мужчине душевного спокойствия, я бы даже сказала, успокоения. Предложение же для него может быть только одно, оно очевидно и однозначно: немедленно завязывать с литературой».

Юю Подлунная, обозреватель

Д

«Не соглашусь с тем, что перед нами частная история. Мы видим здесь не столько подлинную трагедию литературного неудачника, сколько некий слепок, который был сделан с реального мира, его настоящих лиц и событий, а потом зажил собственной жизнью. Это не сатира и не карикатура, но и не биография с поправкой на лузерство рассказчика.

Из чудовищной дряни, такой как проигрыш на не самой авторитетной премии, рождается чудовищный же параноидальный гротеск, в котором и любовный треугольник, и литературная премия, и молодые писатели — все лишено жизни; и в настоящем времени, в настоящем безвоздушном пространстве повести перемещаются настоящие жуткие маски».

С. Секрецын, библиотекарь

Д

«Отдавая себе отчет, что персонаж “Дебюта” будет воспринят фактически неотделимым от его собственной личности, автор все же не стесняется писать о том, как предстает в самом отвратительном виде, причем делает это с нескрываемым кокетством. Перед нами селфи-повесть, и это селфи получилось не очень.

Непонятна грань, где рассказчик говорит все взаправду, увлекшись ролью мыслителя, а где издевается. Тем не менее очевидно одно — ни то, ни другое русской литературе не нужно. Во времена, когда ей не хватает волевого, крепкого героя, Стократов присоединяется к безликому полчищу авторов, которые ноют и стонут. Никто вам ничем не обязан, ясно?»

Змеяна Капронова, заведующая отделом

Д

«Уже одним обилием эпитафий и цитат, кричаще избыточным для такого объема текста, автор демонстрирует тотальное отсутствие вкуса. Да и само повествование излишне затянуто и больше напоминает несмешной стендап, который сразу хочется развидеть. Если же начать разговор о смыслах, все становится совсем печально. Стократов может только в тоску, в упадничество, в бедность и в неустроенность — но это не то, что сегодня заходит. Литература ушла далеко вперед не только от пыльной классики, на которую, кажется, автор ориентируется стилистически (что само по себе далеко не норм), но и от того сезона “Дебюта”, на котором Стократов остался без награды. Было ли решение жюри справедливым, ни разу не имеет значения: сама система координат, в котором финалы премий и публикации в топовых издательствах являлись краеугольным камнем что писательской судьбы, что читательского выбора, давно дала трещину, которая с каждым годом становится только шире. Это мертвая шкура, которую новые авторы сбрасывают за ненадобностью, на наших глазах и при нашем участии конструируя альтернативную модель русскоязычного литературного пространства. Вангум: поколение, которое придет на смену зумерам, перестанет не только ориентироваться на традиционные литературные институции, но и вовсе принимать их во внимание.

Но самое важное — то, что, конечно, литература сменила смыслы. Все эти бедные люди, белые ночи, что делать и кто виноват — не ок в двадцатых годах двадцать первого века. Сегодня все знают, что бедность и тяготы бытовой жизни — лишь следствие жизненных установок и личного выбора каждого. Литература здорового человека обязана быть современной, и пора отпустить канаты, которые приковывают ее к прошлому. Новая реальность, в которой живет человек сегодня, — она про легкость, про веселье, про игру, про достигаторство и неограниченные возможности. Жизнь делают люди, не знавшие ни Советского Союза, ни девяностых — они ценят свободу и с легкостью решают проблему первичных потребностей; не в последнюю очередь потому, что не воспринимают их как проблему. Те же, кто по-прежнему живет в иных обстоятельствах, для них не существуют, потому что никак не способствуют личностному развитию и не добавляют плюсику к карме.

Конечно, в новой жизни тоже есть проблемы, и даже есть свои униженные и оскорбленные, но это совсем не те, о ком берется писать Стократов. Абьюз и харрасмент, гендерная идентичность, права сексуальных меньшинств, непризнание приоритета черных жизней, объективация женщин — вот то, что интересно сегодня, то, про что современная жизнь в ее глобальном, а не провинциально-русском измерении. И да, литературе нельзя оставаться поездом из одних плацкартных вагонов, набитых Башмачкиными, который мчится мимо жизни с наглухо задраенными окнами. Поэтому совершенно очевиден выбор главного критика страны, которая делает знаменитым вчера еще малоизвестного автора сказки о подростке, воспитываемом гомосексуальной парой. Ведь это и есть дни нашей жизни, а вовсе не те треснувшие сломанные часики в петлице офисного неудачника, которые тот же Стократов с необъяснимым упорством продает как “русское время”.

Что в остатке. При очевидной кринжовости “Дебюта” в нем все-таки есть и плюс — ведь в определенном смысле это литература травмы: но и в данной нише это не уровень бог и даже не 80 левел. В текущем литпроцессе, где даже после смерти автора от долгой и мучительной болезни роман о последних днях жизни не пускают дальше длинного списка, не всякая травма идет в зачет. А камин-аута или семейного насилия, которые железно обеспечили бы книге место в списках и критических обзорах независимо от остального мутно-дебютного контента, в этой повести, увы, не обнаружилось. Д — досада».

*«Ловим кур», подкаст о незашкварных книжках
и прогрессивных красивых авторах,
с кем хочется подбукнуть и взять интервью,
исполненное нежного восхищения*

Д

«Все рецензенты, так или иначе, говорят и пишут о себе. И вот мне тоже вспоминается случай из собственной жизни. Девушка, с которой мы расстались, в одну из последних встреч говорила мне:

— Ты разве на что-то еще рассчитываешь?

Почему мне это вспомнилось, кроме желания упомянуть, что и у меня, книжного блогера, когда-то была девушка? Хорошо, что автор не назвал себя и остальных здесь поименно, выбрав не всегда уместные, скажем мягко, псевдонимы. Но неужели это намек на то, что он рассчитывает остаться в литературе? Заменой имен большинства действующих лиц, реально существующих деятелей литпроцесса, автор сигнализирует, что не только сюжетом, описанным здесь, исчерпываются его писательский опыт и отношение к писательству. Да и сам псевдоним Стократов позволяет предположить, что градус абсурда или безумия, свойственный главному герою, находится под авторским контролем.

Впрочем, верно или нет это предположение, во многом будет зависеть от того, куда повернет в дальнейшем жизнь автора, которого все-таки относили — пусть и короткое время — к подающим надежды.

В “Дебюте” рассказано то, о чем обычно не говорят, но что, возможно, присутствует у многих. Сколько молодых писательских жизней не раскрылось из-за невнимания, равнодушия и жестокости к ним; взять хотя бы статистику тех же премий. Эта повесть кажется отчаянной попыткой сброшенного в воду зацепиться за корабль, “монетизировать” свое поражение, выжать из него хоть что-нибудь.

Все это сильно мешает увидеть в ней самое важное. Мало кто обратит внимание, что эта повесть вовсе не о премиях. Да и, если брать шире, то даже не о литературе. В лучшем случае — в последнюю очередь о ней».

*Листатель Постов, блогер
(партнерское выступление на правах рекламы)*

Д

«Нечего, конечно, и говорить о “художественности” или “нехудожественности” Панкратова. Слишком известно, что искусство, творчество — все в “выборе”, в отборе значительного, нужного среди ненужного. Г. Панкратов пишет довольно гладко, больше с него и требовать нечего».

*Зинаида Гиппиус,
одна из видных представительниц
Серебряного века (так написано в «Википедии»), 1910 г.
(цитата зачитана модератором мероприятия)*

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ GEORGISTOKRATOV.RU

Мое литературное сражение окончено. Его итог — окончательный и бесповоротный проигрыш. Возможности, которые я упустил сам и в которых мне было отказано, уже никогда не повторятся. Сил на то, чтобы заниматься этим дальше и не уничтожить свою жизнь окончательно, больше нет.

Здесь все, что я смог; все, что пытался сделать за годы бесконечного отчаяния и бесконечной веры в чудо. Я работал на максимуме, на самом своем пределе. Все это оказалось зря, но все это уже существует и является фактом литературы.

Каждому моему читателю, настоящему и будущему — я знаю, вас очень мало, но вы есть — спасибо.

66%

Д ОБРАТНАЯ СТОРОНА

Какого хрена? Все летит к черту. Я смотрю
на свою жизнь, на твою жизнь, на их жизнь,
на жизнь моего отца, жизни других людей
и не понимаю, почему каждый оказывается
там, где он есть. Все не так!
Я не тот, кем я себя считал, ясно?
И я в ужасе от того, что никогда им не стану.

[из х. ф. «Слова»]



ЛАНИАКЕЯ

Только что я узнал это странное слово. Бормочу его про себя, мысленно, шепчу, пытаюсь постигнуть тайну. Это слово могло бы не означать ничего, быть просто пустыми звуками. Потому как то, что оно обозначает, настолько огромно и всеобъемлюще: Ланиакея.

Его увидела Юнна на сайте Emosurf, она просматривает его тоскливыми вечерами, пока я занимаюсь всякой ерундой, вспоминаю о своих упущенных возможностях, горюю и по инерции еще пытаюсь как-то барахтаться, куда-то что-то отправлять. На сайте Emosurf кипит жизнь — там людям скучать некогда, они узнают новое, духовно обогащаются, расширяют знание о мире и просто хорошо проводят время. Эти сайты были для Юнны отдушиной, окном в большой мир после бессмыслицы дня. А где я мог найти такую отдушину?

«Ну, тут уж перебор с расширением знаний», — думаю я, просматривая ссылку. «Ланиакея»: именно так называется

суперкластер, в котором мы живем!» — кричит заголовок. То, что происходит на самом экране, мне совершенно непонятно. Где-то во Вселенной вертится голубая планета — третий камушек от звезды под названием Солнце, — объясняют мне. — Одна из миллиардов звезд спиральной галактики Млечный Путь. Но где находится сам Млечный Путь?

Не знаю уж, насколько это плохо, но мне всегда казалось лишним это знание — где находится Млечный путь, что это такое. Здесь, на Земле, в твоей родной стране и твоём городе ты лишний, а взглянуть на это с расстоянья Млечного Пути! Зачем вообще что-то делать, отправлять какие-то работы на премии? Лучше сразу ложиться и до скончания дней смотреть Emosurf.

Мне неинтересно происходящее на экране. Непонятно и неинтересно. У Юнны же блестят глаза, она рада, и глядя на нее, я восхищаюсь: мне бы так. Ее улыбка пробуждает и мою, я обнимаю ее и снова смотрю на экран непонимающим, но уже радостным взглядом.

Когда слышу, что вокруг нас восемь тысяч галактик, невольно закрываю глаза и пытаюсь увидеть их. Задумываюсь о своем. Млечный Путь входит в куда более грандиозную систему галактик — суперкластер, который и называется Ланиакей; Млечный Путь расположен далеко от центра этой структуры, на окраине, доносится до меня.

«Это уже ближе: я ведь тоже далеко от центра любой структуры, я тоже на окраине». На экране странные графические изображения, похожие на перья птиц: черное перо и синее. Они переплетаются друг с другом, образуя совсем уж невообразимую картинку, в которой понять что-то — выше моих сил.

— Ничего не понятно, — признаюсь честно.

— Мы где-то там, — говорит Юнна, легко и уверенно. Я так никогда не умел, мне не дано. — Вот тут, — она показывает на экран.

— Мы? — переспрашиваю я, уставившись в бесконечный космос.

— Мы, — повторяет Юнна. — Мы здесь.

В голове что-то перемыкается, и на какой-то миг мне кажется, что все понятно. Мы в кластере Ланиакея, *вот тут...*

Мы дома.

И хочется думать: пусть так будет всегда.

Но так не будет. Так было. И было все реже. Мне хотелось, чтобы так было. Мне хотелось думать, что так *может быть*. Мне хотелось думать, что *мне хочется, чтобы так было*. Ведь так не больно.



111 ТЫСЯЧАМ

Чем больше я работаю со словом, тем менее ценно для меня слово. Годы шли, и шансы стать *молодым писателем* если и оставались, то, как говорят в футболе, только математические. Сначала несколько лет. Потом год? Потом месяцы, дни, секунды. То, что случилось в финале «Дебюта», казалось сказкой, невозможной для меня, невыносимой — прожить ее до конца было нереально, развязка не могла не наступить. Словно бы кто-то вырвал меня из привычного мира, унылой, но спокойной жизни, чтобы переставить, будто шахматную фигуру, на другое поле, туда, где ведутся крупные и интересные игры. Но в последний момент передумал и брезгливо отшвырнул обратно.

После «Дебюта» все кажется баловством. Ничего сравнимого с ним по масштабу в моей жизни так и не случилось, да и уже не случится. Но и гордиться этим выше моих сил. Я не выкинул диплом «Дебюта» в урну, напившись после церемонии, — не хотел, чтобы это был жест: отчаяния ли, гордости, глупой алкогольной лихости. Сделал это трезвым, спустя несколько недель: вытащил из ящика рамку с битым стеклом, сунул в рюкзак и отправился

по делам. Возле магазина «Магнолия» вспомнил, достал диплом из рюкзака, опустил в урну. Было еще что-то с символикой премии, все полетело туда же. Кроме пятидесяти тысяч, ведь на деньгах не было символики «Дебюта». А если бы была?

Я еще отыграюсь, уверял я себя, а это, это — не мое. Не отыгрался.

Когда-нибудь я привыкну. Ведь подавался же несколько лет на «Большую книгу», но ни одна из моих повестей не попала даже в длинный список. Правда, не было там ни Медковского, ни Догоренко. Слово в старом и несмешном анекдоте — «Сегодня не был в Париже, завтра не буду в Риме» — я пытался пробиться во многие крупные премии, но везде утыкался в стену: меня не видели, меня не хотели знать.

Сказать, что я и не надеялся на их внимание, будет лукавством. Только на него я и надеялся. И все равно верил в свою счастливую звезду, хотя и не имел на то никаких причин. Издательства отказывали друг за другом, литературные агенты не хотели работать со мной: я слишком прост для них, нужны сложные авторы. Нужны изыски. Но где-то внутри себя я всегда знал: *то, что говорю и делаю в литературе я, не говорит и не делает никто*. Не потому, что я круче всех, упаси боже, но и не потому, что хуже. У меня своя, ни на кого не похожая линия. Это факт, господа премиальные боги, это, господа премиальные боги, факт. Так, стиснув зубы, я проговаривал каждый день.

Но потом ушло и это ощущение. Как у всего в мире, у моих несчастий нашлось простое и разумное объяснение: я не попадаю в списки писательских премий, потому что я не писатель.

— Вот что *твое*, — уже не зло, а просто отчаянно думал я, сидя на очередной вонючей работе:

...представители министерства жилищно-коммунального хозяйства, областной специализированной аварийно-восстановительной службы, комитета лесного хозяйства,

органов местного самоуправления и коммунальных предприятий проводят совместные... ежедневно контролирует уровень... в сооружениях... исключение также предусмотрено для транспорта, оснащенного аппаратурой... с идентификацией... водители таких автобусов обязаны информировать о местонахождении, направлении и скорости... 76 подъездов отремонтировано с начала года по губернаторской программе... меняют плиточное покрытие первых этажей и реконструируют входные группы... креативно подошли в городском округе к обновлению стен, после штукатурки их окрашивают в цвета, которые выбрали жители квартир... адресные перечни для установки систем видеонаблюдения в общественных местах и на социально значимых объектах составляют в каждом муниципалитете специальные рабочие группы... уровень оснащенности... влияет на позицию муниципалитета в рейтинге... который формируется по поручению губернатора... всего в регионе зарегистрировано 111 тысяч ям... средний за неделю показатель — 15 тысяч, за 17 часов ликвидируют ямы... снежная зима внесла свою лепту... 132 раза столбик термометра опускался ниже нулевой отметки... появляется множество ям и пучинообразований... последних на дорогах было выявлено 83...

— Отвлекись от мира победителей и суйся в свое дерьмо, — убеждал я себя. Но какое же бессилие чувствовал перед этими словами и предложениями, собирающимися в бессмысленные информационные заметки, которые никогда не найдут своего читателя. Любой идиот со сквозной дырой в голове с ними справится, а я почему-то нет. Я просто сидел и не мог ничего с ними сделать, тупо смотрел на экран, и меня тошнило, воротило от них. А ведь я *ими* жил, они были моей жизнью, не премии, а они.

Сколько же требовалось усилий, чтобы заставить себя снова нырнуть в них, окунать себя, точно котенка, в собственное дерьмо, когда в середине рабочего дня открывал список, ради

которого жил весь год, и не видел в нем *своего* — рассказа, романа, повести.

Теперь я уже точно знал, что со мной происходит. И мог это объяснить. Не знал лишь одного: что с этим делать. «Дебют», как и любая премия, был указующим перстом. Посмотрите, говорит такой перст, обращая себя самого на писателя: почитайте его. В том катастрофичном финале перст отшвырнул меня, указав *не на кого-то другого* — указав *на всех остальных*. Случилось самое отвратительное, что только могло, но оно случилось: я стал воспринимать литературу как битву. Как смертельный бой с врагами. Неравный, бессмысленный и бесперспективный — но бой. Как кровавое месиво, в котором важно только одно — остаться, подняться на костях и обломках надежд других, на их судьбах, трудах и замыслах.

Я перестал получать удовольствие от того, что просто писал, как было когда-то, что у меня получалось писать. Все написанное, созданное мною было мертво, пока божественный свет списка премии не озарял трупик повести или рассказа. Мои работы не рождались из-под пера — они умирали. Я не создавал их, а убивал в себе, вытаскивая на бумагу как занозу, как клеща. Убивал их в том невидимом пространстве, откуда они приходили, являлись. Убивал и смел надеяться на жизнь для себя, на то, что некто большой, великий, умный, достойный, смахнет рукой, словно крошку, мою рукопись со стола и вздохнет лениво: «Ладно, печатайте, бог с ним. Пусть подавится». И выиграет моя гордость, остатки ее, кровавая шевелящаяся масса, не искромсанная еще до смерти топорами мясников «Дебюта»:

— Натe, сволочи, нате вам напоследок! Я еще смогу, у меня еще будет премия. У меня еще будет второй финал! Но вы убили во мне то счастье, с которым я шел когда-то к вам, шел в литературу. И что бы я ни сделал, как бы ни извернулся, я никогда не смогу это счастье вернуть, прочувствовать. Одно отчаяние во мне, одна злоба, и нет сил сражаться ни с вами, ни с собой,

нет. Победили вы. Но победили не только меня — вы победили то святое, то ценное, капля которого когда-то упала в меня, мельчайшая капля таланта и понимания того, как преобразуется жизнь в слово и как преобразует слово другие жизни. Упала случайно, по остаточному принципу, упала с графина, откуда жадно пили Догоренко и Медковский, пока божественная сила густо обливала с головы до ног талантом Сладникову и Колбасинского. И вас, все премиальные боги, отвергнувшие меня. Вы погасили свет во мне — и пусть я умру без него, погибну на складах своих, во тьме бессмысленных редакций, в пыли бесславных дел, плевать на меня, черт бы со мной, идиотом, но вы погасили свет. Я ненавижу вас и буду ненавидеть, пока спустя миллиард беспросветных жизней, прожитых в муках и боли, в абсолютной невозможности стать услышанным, понятным, замеченным я не встану на сцену галактической премии «Турбодебют». В ядре пылающего Солнца, в одном ряду с титанами-создателями мира: Сверхмедковским и Гипердогоренко, ослепительно грохочущими успехом, талантом, красотой недостижимыми прекрасными богами. И тогда выйдет Он, сияющий Турбоколбасинский из Вселенского бюро Признания, и сморщив усталый лоб, скажет:

— Да подавись ты, будь проклят. На и тебе эту сбитуую птицу, мы убили и изжарили ее для тебя, а там, в ее истекшем черной кровью сердце, — надежды и мечты всех тех, других, которых я не пустил сюда ради того, чтобы на этой адской сцене сегодня стоял ты. На, жри, — протянет он мне тушу птицы. — Жри, ну что ты, жри! Они не заслужили, ты достоин. Сверхмедковский! Гипердогоренко! И маленький, маленький ты. Мы пожалели тебя. Жри! Жри вместе с богами, пируй!

И я буду жрать. И ни кусочка не дам той птицы, ни перышка, ни жилочки, ни косточки тем, кто остался наблюдать, тем кто пошел орать от одиночества, валясь бесполезным телом своим в предновогодний московский снег: «Я написал дрянь.

А Микростократову дали. Его пожалели, болезного, а меня нет. Нет!» Я буду хохотать, плюясь хрящами и жилами, хохотать в беззвездное небо:

— Эй, Никого-Там-Нет! Я, я, я добился, слышишь! Я пробыв здесь не просто так! Мне дал пожрать Турбоколбасинский, гляди, дал откусить птицы! Смотри, Никого-Там-Нет! Я здесь, в центре твоего солнца! Сегодня — мой Турбодебют! Мой! Валяйтесь в снегу, недописатели, бейтесь головой о каменную землю. Мне вас не жаль! Сегодня я, я — победитель! Провалитесь вы все, провалитесь вы пропадом! А-а-а-а! А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а!

Да, это так. Я надеюсь, в следующей жизни мне удастся избежать тех ошибок, что привели к краху на «Дебюте». Что смогу написать другое и лучшее, что понравлюсь Колбасинским, что составлю хорошую, яркую и остроумную речь. Что я буду чувствовать себя совсем иначе перед вручением премии, и, конечно, главное — после. И эта новая сущность со слепком нынешнего меня, запрятанным в скрытых файлах ее памяти, будет так хороша, что получит аналог премии «Дебют» другого, незнакомого нам мира.

Один шажочек, один взмах руки отделял меня в тот вечер — 11 декабря, как сейчас помню — от совершенно другой жизни и совершенно другой судьбы. И я, безусловно, знал, что когда-нибудь придет эта подлая мысль: *хорошо, что я просто там был*, постоял рядом с великими мыслителями современности. Ведь и такого могло не случиться.

И вот, прошла лишь пара-тройка лет после финала, а эта мысль уже пришла.

Они поставили крест на моей жизни. И у меня есть право ненавидеть их. Желания нет, но есть право, и это не я им пользуюсь, это оно пользуется мною.

Когда я попаду туда, где каждый из нас окажется, завершив жизнь в земных телах, и меня — уж не знаю, *вверху ли, внизу* — спросят:

— Ну а что ты делал там, на земле?

Отвечу:

— Я был в финале премии «Дебют», я стоял рядом с великими: Медковским, Догоренко, Колбасинским. На меня смотрела Сладникова, и даже говорила со мной. А значит, я был там, внизу ли, наверху, не зря.

— Это лучшее, что с тобой было, — скажут мне. — Значит, ты вспоминаешь их с радостью?

Я задумуюсь, честное слово. Но, помолчав немного, все-таки решусь:

— Нет. Я так и не испытал радости победы, зато познал жестокое поражение, оскорбляющее достоинство и уничтожающее волю. *За что* это все было? За то, что хотел заниматься единственным делом, которое любил.

Но пока — хотя время и тает стремительно — я еще не вниз, не вверх. Я, как и все в земных телах, *между*. У меня еще есть возможность ответить *там* по-другому. Есть возможность предъявить другой входной билет.

Счастливый.

Эта возможность — напротив меня, на другом конце столিকা, на расстоянии вытянутой — а может, в моем случае, протянутой? — руки.

У нее каштановые волосы и серые глаза.



ОСОБЫЕ ОТНОШЕНИЯ

— Мы будем пробовать в литературные журналы. Начнем с «Ноябрьска».

— «Ноябрьск» не примет, там Кряквина такая есть, она меня ненавидит. Не пускает ни на премии, ни на форумы, ни в журнал. Остальные еще, может быть.

— «Синева»?

— В «Синеве» по году не отвечают ни на письма, ни на что. Так и вся жизнь пройдет! Разве у меня есть столько времени? Может, «Новый свет»?

— С «Новым светом» сложно, — говорит женщина и поясняет почему. То ли с ней там никто не общается, то ли у них разные взгляды на очередной краеугольный камень литературы. Я теряю нить разговора. Засматриваюсь на женщину.

— Нужно заказать еще игристого, — думаю. Хотя праздновать, в общем, и нечего. Да, она начала разговор с того, что я не гений — а я разве думал, что гений? — но попытаться можно. А там чем черт не шутит. Но ведь главное не это. Мы обсуждаем с ней мои работы, я говорю о них с женщиной — впервые в своей жизни! И она мне все больше нравится.

Наверное, я буду долго раздумывать, связано ли одно с другим. Заказываю игристое — так станет легче, а то начинает трясти: я уже долгое время пью каждый день, да и волнение.

— Ну, за успех нашего предприятия, — пытаюсь припудрить свой алкоголизм, а то, чего доброго, решит не связываться. Хочется сказать коротко, любую чушь, только бы скорее выпить. Писатель не обязан говорить красиво, оправдываю себя в мыслях. Да и какой я писатель? Писатели — это Медковский, Догоренко. Они пусть и говорят.

— Я не стала бы с ними работать, — говорит она. Мне кажется, взгляд ее чист и грустен.

Пожимаю плечами:

— Перед ними и так все дороги открыты.

Шипучее вино быстро дает по мозгам. Женщина напротив, кажется, становится моей новой надеждой и верой. Глядя на нее, помогая ей надеть пальто, провожая до метро, я не могу избавиться от мысли, что происходит *что-то еще*. Искрит, как порвавшийся провод, какое-то новое чувство в моей истрепанной, погружившейся во мрак бытовых ссор и нереализованности жизни. Искрит, но не разгорается. Хочу ли я, чтобы *разгорелось*?

Мы встретились, когда я был на грани. Она рассказала о литературном мире. Она мне улыбалась. Теперь, когда вижу ее с ней снова, мир ненадолго становится цветным.

— Но в первую очередь нужно работать по издательствам, — говорит она, и мне нравится ее голос.

А главное, что она говорит:

— Подлинность.

Она любит это слово, часто говорит.

В мире мало слов, которые так же вреза́лись мне в память. Кажется, что я теперь стану все вокруг проверять на предмет подлинности. И результаты этой проверки будут ой как неутешительны.

— Вы подлинный, — говорит она.

А еще она говорит: «прекраснодушие». Это слово для нее ругательное. Мы спорим.

— Я понимаю прекраснодушие дословно: прекрасная душа. По мне, прекраснодушие — несомненное достоинство человека.

Выпиваю. Признаюсь:

— Я прекраснодушный. Я сентиментальный.

Да что там говорить, думаю, вся моя жизнь и все мои работы — непрерывная ода прекраснодушию.

— А вы ревнивый? — вдруг спрашивает она.

— Ревнивый? — задумываюсь над неожиданным вопросом. — Когда-то я был очень ревнивым, и это лишало меня многих удовольствий, отравляло жизнь.

— И что теперь? — выпытывает.

— Да ничего. Не ревнивый. Иногда я думаю, а что, если бы моя женщина изменяла? Такое обещает сильные эмоции, — снимаю и протираю очки. — А эмоции, они мне очень нужны.

— Вы интересный человек, Стократов, — она задумчиво качает головой. — А вы хотите быть писателем?

— Станный вопрос, — думаю, как это может быть связано с ревностью. — Иначе бы я не сидел здесь.

— Дело не в этом, — терпеливо объясняет она. — Вы воспринимаете себя как человека, который просто временами что-то пишет, или вы видите себя именно *писателем*? Здесь разные стратегии и разные, откровенно говоря, возможности.

Эту тему я люблю. У меня захватывает дух.

— Я писатель, — говорю быстро, словно боясь не успеть утвердить это. Теперь, произнеся главное, успокаиваюсь. — Я не сакрализирую фигуру писателя, но, конечно, воспринимаю себя именно так. Потому что мне ничем так не интересно заниматься, как писать, ничто не доставляет такого удовлетворения, ни одно другое занятие. Конечно, я рад бы заниматься только им, но... Мне хочется говорить людям...

Она обрывает мою речь:

— Я хочу предложить вам особые отношения.

На какое-то время смолкаю, уставившись на нее. «Вот так поворот, — думаю я и внезапно чувствую, как накрывает волной счастья. — Господи, вот она вся жизнь твоя: вся, что была раньше... Не об этом ли ты мечтал *тогда*? Не потому ли страдал, тосковал, умирая в отчаянии? Прекрасная женщина и литература! Особые отношения», — улыбаюсь я, даже не вспоминая, что в современном мире называют *особым* и почему. Сказать: «Согласен!», только и выдохнуть это слово, только-то!

Но говорю другое.

— Я несвободен.

— Если вас ждут дома... — начинает она.

— Но и дома меня не ждут.

Мне кажется, это правда. Я мог бы сказать, что «Дебют» уничтожил не только мою творческую жизнь, но и личную. Но этого не случилось. Мы много раз хотели разъехаться с Юнной, думали расстаться, но снова говорили, решали, что будет лучше *попробовать снова, начать с чистого листа*. Одиночество — это еще страшнее. Каждый день я думал, что сделать

с надеждой когда-нибудь стать писателем. Я знал, что женщина вряд ли сможет со мной жить, не откажись я от глупой идеи убить жизнь на составление комбинаций из слов.

Было важно, что мы вместе. Что на очередной Новый год у нас будет красивая белая елка с ежиком и волшебными птицами. Когда же праздники кончатся, жизнь вновь вернется к рутине. Но я уже был готов это принять — и принять с благодарностью. Я понимал, что в одиночестве все равно бы ничего не написал, а если и написал, и даже победил в премии, не с кем было бы разделить радость.

Но и рассчитывать, что все станет снова таким же, каким было вначале, не приходилось. Порою мы старались меньше встречаться в квартире, чтобы не начать ругаться. Решили разойтись, если не сможем ничего наладить. Мы осторожно пробовали — получится ли? Не получится? И вот я встречаю ее — женщину с серыми глазами и каштановыми волосами. Она предлагает мне счастье, а я только и могу, что мямлить глупости в ответ.

Вынырываю из собственных мыслей и отчего-то смеюсь.

— Зачем я вам нужен? — говорю. — Что я вам могу дать?

О как любила Юнна эти разговорчики: что я даю ей и что получаю взамен.

Мне как-то сложно поверить, что могу нравиться ей. Ну, написал когда-то «Буйного кота», так что же, теперь нравиться?

— Вы меня совсем не знаете. Зачем вам эти отношения? Вы очень скоро разочаруетесь, скажете: вот оно, оказывается, че.

Она смеется.

— Как здорово, — говорит. — Как давно у меня не было таких разговоров!

— У меня зарплата шестьдесят тысяч, — нахожу последний аргумент.

Прости меня, региональный или попросту бедный читатель. Я тоже когда-то был готов продать душу дьяволу за такую

зарплату, но в Москве, да еще и с семьей жить на эти деньги тяжело.

— Зачем мне это знать? — удивляется она.

— А что еще надо знать, — пожимаю плечами и раскрываю зонт: мы выходим на улицу. У нас есть капюшоны, но пройтись под зонтом, вдвоем, по Цветному бульвару! — Мои повести вам разонравятся, а жить как-то будет надо. Да и вообще...

Мы идем по Цветному бульвару. Справа и слева от нас — разных размеров шары, одни ростом с человека, другие с собаку, третьи с двухэтажный дом. Город готовится к очередному Новому году. Сколько прошло их после того «Дебюта»? Сколько раз я смогу еще в нем участвовать, пока не стукнет проклятый возраст, когда я окончательно перестану быть молодым? Все это давно было как в тумане, эти года, сезоны, списки; прошедшие скрывались в нем, будущие выплывали. Они — все, что меня волновало, а тут она.

Мы проходим под сверкающим навесом с поздравительной надписью.

— Вам нравится? — спрашиваю я.

— Ничего не имею против, — улыбается она.

— Это, наверное, самый сильный комплимент, который можно от вас услышать, — смеюсь.

Шары переливаются различными цветами: фиолетовым, оранжевым, зеленым, и прохожие останавливаются посмотреть. Я вдруг вспоминаю «Звездные войны»: молодой Энакин готовится перейти на сторону Зла. Они сидят с канцлером Палпатином, по совместительству императором Тьмы, в галактическом театре и смотрят представление: по сцене перекатываются, меняя цвета и форму, гигантские пузыри.

— Познай мощь темной стороны, — говорит император. — Она позволит спасти от смерти.

Энакин примет решение: он присягнет Императору тьмы, но в того попадет молния, и лицо его будет обезображено.

Он наденет капюшон, станет страшной тенью, и от бывшего дипломатического очарования канцлера не останется и следа. Да и необходимости очаровывать больше не будет.

«А вдруг она станет такой же?» — думаю я, глядя на ее капюшон. Представляю, как присягаю ей, приняв новую сторону. «Теперь твое имя Дарт Вейдер». Мне становится смешно.

— Это служение, — объясняет она. — Такой тип отношений. Мне кажется, рядом с вами никогда не было никого, кто мог бы понять, оценить то, что вы делаете. Я всего лишь послушный служитель искусства.

Все так, думаю я, вспоминая байки из интеллигентских кругов про жописы и мудописы. Она, должно быть, и есть идеальная жопис, думаю я, или хочет такой быть. Об этих женщинах я слышал, а скорее, конечно, читал — ведь от кого я мог слышать? Кто я такой, в конце концов, чтобы знать про жопис?

Женщина с серыми глазами и каштановыми волосами, кажется, дала ответ:

— Вы не Прелебен.

Это прозвучало коротко и твердо. На ее слова, что женщина писателя должна быть непременно из мира литературы, я возразил: вот, у Прелебена, мол, не так. Что не мешает людям быть счастливыми, а скорее, даже помогает.

Мне показалось, что на ее лице мелькнула усмешка.

— Жена Прелебена всегда понимала, что это Прелебен. Даже когда он Прелебеным не был. Она не отпускала его от себя, верила.

— Ну а вы? Ведь вы же в меня не верите! Зачем тогда это все?

— Да, не особо верю. В той ситуации, которую мы имеем в литературе сейчас, ваш успех вряд ли будет возможен. Если мерить талантом, то он есть. В другой ситуации все могло быть.

— Но ведь мы в этой! — чуть не закричал я.

— Да, мы в этой, — констатировала она спокойно.

Я — не Прелебен. Я не могу быть так же интересен женщине, как был когда-то он. Непрелебен — это все равно Прелебен. А Нестократов — это просто Нестократов. Что нового мне дает это знание? Я смотрю в глаза женщины с серыми глазами и каштановыми волосами, и в моем взгляде сомнение. Мы на перекрестке.

— Куда нам идти теперь? — спрашивает она.

— Хороший вопрос, — говорю. — Разноплановый.

На прощанье беру ее за руки. В памяти всплывает канцлер Палпатин и усмехается из-под капюшона.

— Проблема в том, что вы нравитесь мне совершенно искренне, — я обозначаю проблему. Но считаю, что этого недостаточно, и уточняю: — Это *именно что* проблема.

Будь все *не так* — наша ситуация была бы понятна. Но все *так*, и непонятно теперь ничего.

На обратном пути покупаю коньяк и распечатываю на остановке.

«Она нравится мне все больше и больше. Но теперь я должен буду что-то ей сказать. А что?»

Самым паршивым кажется то, что я могу ее *использовать*. Ее внезапное чувство, ее предложение, ее саму. И отчасти, только отчасти, но это так. В этом не хочется признаться даже себе. Достаяю кусок сыра, откусываю.

«Я чувствую с вами счастье, — пишу СМС. — Настоящее».

Она отвечает сразу: «И я».

Запутавшийся, уставший, отчаявшийся игрой в писателя, давно проигравший единственный шанс жизни. И она. Кто она? Я ведь вообще не знаю, кто она. Она вернула меня к жизни. У нас есть что-то общее, а главное: и ей, и мне не нравится все то, что происходит в литературном процессе, движухе, тусовке, как ее ни назови. Весь этот снобизм, элитарность, что там у них еще. Она подскажет.

«А, не хочу думать об этом. Хотя бы сейчас — не об этом!»

Опять становится больно.

Ее мир выглядит прекрасным. И мой когда-то был таким же. Только я забыл, все это где-то далеко, настолько далеко, что нет такой руки, которою можно до него подать.



НУ, Я ПОШЕЛ?

Прежде все эти ощущения и переживания были только *моими*, а со мною все было понятно.

Но теперь — и как скоро! — они обрели форму *ее* предложения, они ждут результата, ответа. Что теперь делать?

Телевизор, который смотрит Юнна, подбрасывает случайный сюжет. Молодой Константин Хабенский играет музыканта, приехавшего с женой в Москву. Конечно, без денег, только с одной гитаркой. Он косит под Джона Леннона и поет бардовские песни. Помыкавшись двадцать серий, в одной из последних встречает женщину, и та предлагает жить у нее, объясняя, что это единственный шанс, последний.

— Ну, я пошел, — говорит он жене и уходит.

Но окажется, что женщина поселит его в загородный дом вовсе не из-за любви, а, вместе с другими парнями, в качестве... ну не рабов, слуг, что ли. Дальше я не смотрел, и так было о чем задуматься. Что отличает меня от героя Хабенского?

Женщина с серыми глазами и каштановыми волосами. Она не такая, как та. Она не обманет, она понимает, ей, видимо, важно то, что я делаю. Но вдруг нет?

— Мне нравится «Мизери» Кинга, — сказала она однажды.

— Книжка или персонаж?

Я уже понимал, о чем речь, ведь до этого мы говорили об отношениях писателя с другими фигурами литературного мира — критиком, редактором, издателем, читателем.

— Интересный момент, — заметил я. — Вам не кажется, что он вас как-то характеризует?

— Конечно, там крайняя форма, но в целом, — она совсем не смутилась. — В целом в этом что-то есть.

К чему я это вспоминаю? Ведь мысли совсем о другом. Предам ли я Юнну? Нет, мы давно чужие, мы просто живем, *со-существуем* вместе. Здороваемся вечером, едим в разных комнатах. Спим, отвернувшись друг от друга — просто больше негде спать.

Там, в этом фильме с Хабенским, все-таки шоу-бизнес. В шоу-бизнесе есть зачем рваться, есть зачем предавать — и в первую очередь себя. А здесь, в литературу, — ну зачем? Ради чего?

Отношений с Юнной нет, думаю я. Там, рядом с женщиной с серыми глазами и каштановыми волосами — будущее, думаю я. Какое может быть с Юнной, думаю я. Какое может быть с женщиной...

Какое вообще у меня может быть будущее?



ЛЕД

Я же никогда не выиграю в этой ситуации, никогда. Что бы ни решил, окажусь проигравшим. Юнна узнала про все. Она не хочет уходить, не хочет расставаться, не хочет, чтобы уходил я.

Она говорит: просто было плохо. Просто было очень плохо. На работе проблемы, вот и не поговорить нормально, вот и только кричать остается. Целый год кричать. Да еще и «Дебют» этот! Я же много пил, я же портил ей нервы. «Крутится рулетка, играет джаз, я проиграл, я...» Как же ей не верить?

Она не хочет, чтобы я уходил к женщине с серыми глазами. С каштановыми волосами.

Потом мы пьем, пьем, пьем. Истерики. Встречаем Рождество.

— А если я останусь? Вам ведь дела нет до того, что я что-то пишу там, зачем-то. Я даже писать не могу, у меня нет угла, нет тишины! А настанет тридцать шесть, и я загнусь от отчаяния, когда буду умирать, не зная, что делать дальше, зачем, для чего жить? Вы тоже будете говорить, что любите? Зачем?

— У тебя получится, — говорит Юнна. — Я верю.

— Я! — кричу. — Я не верю! Я сам не верю! Ненавижу их! Ненавижу их всех.

Стучу кулаком по стене, кричу:

— Ненавижу их! Эти суки не дадут мне шанса. Никогда не дадут шанса! Все, что я мог сделать сам, я уже сделал! Ненавижу.

— А я люблю тебя, — тихо говорит Юнна.

— С чего вдруг? — смеюсь. — Столько прожили, так давно хотели расходиться. И ведь почти разошлись уже. И вдруг полюбили!

Я не знаю, что чувствую. Не знаю, могу ли чувствовать что-то вообще. Наверное, могу: чувство ненависти, чувство желания всем отомстить. Как угодно — вернуться в этот долбаный литературный мир и отомстить им. Да, я этого хочу. Это сжирает меня. У меня есть еще несколько сезонов. А потом смерть, работа грузчиком, дети. Веревка, мыло.

Но ведь это не чувство любви. Ни к кому у меня нет любви. Женщина, что сидит рядом, — к ней только остатки чувств. Женщина с серыми глазами и каштановыми волосами? К ней просто симпатия, может ли что-то вырасти из обыкновенной симпатии? Жить одному? Значит, уехать из города. Значит, сдать раньше времени. И ужас одиночества, в котором я вырос и жил до встречи с *той* еще Юнной. К *ней* бы я бежал, к *ней* бы я вернулся, от *нее* бы никогда не уходил. Но ведь с *ней* был другой я. Она была рада другому мне, а не этому, нынешнему.

Мы идем по красивому зданию московского университета. Мне хочется вернуться сюда, возвращаться сюда, быть здесь. Рядом

со мной женщина с серыми глазами и каштановыми волосами. Мы обсуждаем какие-то простые вещи, подходит ее коллега.

— Это Георгий Витальевич Стократов, — представляет меня женщина. — Будущий лауреат литературных премий.

Я улыбаюсь. Она называет меня Георгий Витальевич за чем-то. Был бы лауреат и вправду — тогда ладно. А так?

— Вы вполне можете получить здесь второе высшее, — говорит она мне.

— Зачем? — моя первая реакция. Конечно, я уже давно был, как это, учиться.

— Вступительные не сдам, — говорю.

— Без вступительных, — отвечает она.

— Само по себе это здорово, — пожимаю плечами я. — Но что мне это даст? Да и работать нужно, чтобы как-то жить. Поздно мне. Все поздно.

Но не поздно еще издаться. И она напоминает мне об этом: я издам вас, говорит, попробую издать. Говорим о редакторе Качаловой, молодой и модной. Женщина с серыми глазами и каштановыми волосами мнетя, сбивается, какое-то время молчит. Но наконец рассказывает:

— Как-то она готовила к печати своего... — она думает, какое слово выбрать, как назвать. — В общем, с кем она жила тогда, спала. Партнера. Но пока книжка готовилась, они расстались, а как только расстались, взяла и отозвала книгу. Прямо из печати! Представляете, сначала решила издать книгу только потому, что спала с автором, а потом отозвала ее потому, что перестала спать!

Я не так уж часто слышал от нее литературные истории, а те, что слышал, — вполуха. Мне было все равно, кто с кем спит, кто не спит. Пусть бы все они между собой переспали по нескольку раз, лишь бы издали меня. Но сейчас напрягаюсь. Смотрю на нее внимательно, спрашиваю:

— А вы бы поступили как?

— Нет, конечно! — кажется, она возмущена.

— Почему?

— Я люблю литературу. И не могу оценивать произведение иначе, оттого что мне нравится или не нравится автор. Спит со мной или нет, — она смотрит на меня выразительно.

Мне хочется сказать: вы ведь сами меня предадите, и произведения мои забудете, выкинете как ненужный хлам. Вы будете раздавать интервью, проводить презентации, писать рецензии и обзоры, и никогда, ни разу в жизни не упомянете меня. Хотя это вам ничего не будет стоить. Вы отвернетесь в тот же миг, как поймете, что у нас с вами не срастается то, что пытаются срастись. Чем вы отличаетесь от Качаловой? Но оставляю эту мысль при себе.

— Когда-то я мечтал организовать партию неудачников, — говорю заговорщицки, склонившись над бокалом с пивом, и глаза мои загораются. — Полную лузеров партию. Я и логотип такой придумал: ПЛП. Две одинаковые буквы П скрещиваются книзу своими ближними и дальними палками, образуя некое подобие сердца, в верхушке которого еще и видна буква «л». И знаете, я был уверен, что лузеры пойдут за мной.

Женщина с серыми глазами и каштановыми волосами сидит напротив, думает.

— А что бы вы могли им предложить?

— Я мог им предложить только одно. Любой лузер хочет добиться успеха, избавившись от своего лузерства. На это кладутся жизни. А мы бы добивались успеха, оставаясь лузерами. Отстаивая свое право на лузерство. Ведь вся моя история об этом. Не имея шансов, найти любовь. Не имея шансов, приехать в Москву, здесь жить. Не имея шансов, написать книгу и оказаться в финале треклятой премии. Я ведь рожден ползать, я с детства знал, что рожден ползать. Но почти взлетел! Почти. Мне не хватило капельки, доли секунды. И я-то уже нет, меня так сильно отбросило, разбило, размозжило о камни, но, может,

кто-нибудь из этой несуществующей партии разберется, что с этим сделать, как это обойти, и все-таки взлетит!

Я так разгорячился, будто говорил о настоящей партии, будто за мной, за меня были сотни.

— И что же? Скажет вам спасибо? — интересуется она.

— Разумеется, нет! Лузеры неблагодарные. Они никогда не скажут спасибо.

Она хочет что-то ответить, но я перебиваю, вспомнив важное.

— А еще я создал бы для них премию. Не маргинальную, не контркультурную, не протестную, а именно лузерскую. Даже если я из своего кармана достану десять тысяч рублей, на них будет спрос, и на премию будет спрос. Я назвал бы ее «Антилит». И руководствовался бы не своим вкусом, а тем, кому она нужнее, чтобы адресно помочь. Премия нужна тем, кто погибает, кто в отчаянии — чтобы выжить и творить. Для тех, у кого и так все хорошо, есть другие премии. И речь на ее вручении я начинал бы сразу с того, кому она вручается, без всяких лишних слов о Пушкине и Достоевском. Вот так.

Наконец выдыхаю.

— Ты лучше их всех, гениальнее, — говорит Юнна.

— Гениальнее, — передразниваю я. Юнне простительно; она ведь не знает: то, что я пишу, и вправду срань. Она не читала Медковского, не читала Догоренко.

— Не Иван Алексеев, конечно, — женщина с каштановыми волосами не устает сравнивать меня с великими. — Но определенный талант у вас есть.

Они с Алексеевым знакомы. Иногда мне кажется, что я похож на Алексева: полноват, коротко стрижен, в похожих очках, говорю неторопливо, вяло. Алексеев далеко, а я близко. Но ведь я не стану Алексеевым и — главное — не пожелаю им стать.

— Я просто хочу, чтобы это существовало, — говорит она, глядя на папку с моими работами. — Мне кажется, это нужно. Важно.

Наши встречи и звонки привычно начинаются с ее рассказа: какие издательства отказали сегодня, какие журналы послали на три буквы.

— Со мной нужно усилие, — говорю. — Не такое, как со всеми. Двойное, тройное. То, что с другим автором сработает само, со мной нужно умножать надвое. Это как поезд, который на одном электровозе не поедет, только на двух.

— В целом вы понимаете ситуацию верно, — говорит женщина с серыми глазами и каштановыми волосами.

Но я и понимаю, и не хочу понимать. Она не восхищается мной! И пусть даже она сто раз в этом права как критик, филолог, литературовед или кто там она еще. Но ведь мы заговорили об особых отношениях. Она прочитала столько моих работ, и кроме замечаний, пусть среди них и много хороших, я ни *разу* не услышал похвалы. В самой простой, естественной форме: что ей *понравилось*. Она говорит: сам факт того, что уделяет внимание, работает с ними, уже говорит о многом. Но мне просто хотелось, чтобы сказали: да, вот это круто. Да, мне понравилось, Гоша. *Понравилось, как ты написал*.

— А я верю, — говорит Юнна. — Я в тебя верю.

Она даже плачет.

Почему, думаю. Кто я такой? За что меня можно любить? Зачем за меня держаться? Медковского можно любить, Догоренко можно. У меня нет ничего, я ничего не умею. Никто не поможет мне, никогда. Я иссыхаю — как личность, как писатель, просто как человеческая машина, которая может двигать руками, ногами, посылать импульсы в мозг. Кроме жалости, нет причины любить меня. Но ведь это не наш с ней случай. Не ее.

— Нет человека отвратительнее писателя, — говорю ей однажды, пьяный. — За любую мерзость впишется, согласится на любое гадство.

Женщина с серыми глазами и каштановыми волосами называет это самовыражением. Самовыражение — все, чем останется заниматься. Самовыражением в пустоте.

— Мне хорошо с вами, — говорю я женщине с серыми глазами и каштановыми волосами. — Вы для меня огромный мир.

Но я не знаю, как прикоснусь к ней. Как начну эти чертовы *особые отношения*. Что скажу. Когда Юнна будет орать от отчаяния в пустоте, в ужасе, как орал я когда-то, в снегу, после «Дебюта»? Стоит ли *это* того, чтобы я получил премию? Всего-то лишь сраную мертвую премию за мертвые повесть или роман? Чтобы я взял мертвыми руками статуэтку? Чтобы сказал — да что, что сказал бы?

— Я предал себя и уничтожил жизнь человека, который меня когда-то любил — ради того, чтобы постоять здесь с вами, сказать вам всем спасибо.

Пошли «вы все» к чертовой матери. Жаль, жаль, невыносимо жаль — что других способов выяснить, стоишь ли ты хоть чего-то, нет. Кроме вас и ваших премий. Ничего другого нет, не существует ничего другого.

— Я не знаю. Не знаю, честно, — говорю женщине с серыми глазами и каштановыми волосами.

Мы выходим на лед новогодних Чистых прудов. Мы идем по льду. Мы останавливаемся. Вокруг Москва.

— Я люблю вас, Георгий Витальевич, — говорит мне женщина, и серые глаза ее смотрят на меня. — Я люблю вас и всегда буду любить. Я не могу без вас жить.

Проходит какое-то время. И вот мы идем обратно. Она падает, закатывает глаза. Молчит. Не отвечает. Я пугаюсь. Шепчу что-то вроде: «Что я могу сделать? Что с вами? Чем вам помочь?» А сам думаю: *это* серьезно? Неужели *все это* серьезно? Зачем было падать после всех этих слов, для чего? Ради какого эффекта? Неужели она полагает, что для меня любовь — это *когда вот так?*

Но думаю: а вдруг она так чувствует? Вдруг для нее самой все *именно так*? Ведь я же другой, я смотрю из себя, и никогда не смогу посмотреть *из другого*? Для меня это странно, дико — падать после того, как признался в любви. «Что мне делать? Что мне теперь делать?»

— Не знаю, — говорю на входе в метро. — Могу ли я вообще хоть что-то чувствовать? Способен ли я на что-то настоящее, яркое? Не знаю. Мне кажется, во мне все это умерло.

— Ну, вы же не в том возрасте, чтобы быть таким безразличным к жизни, к чувствам.

Нет, в том, объясняю. Но не выходит. Не получается объяснить.

— Зачем это вам? — спрашиваю. — Разве же я тот человек, который достоин этих слов, которые вы сказали?

Встреча заканчивается, я пожимаю ей руку.

— Вы же понимаете, что после всего, что случилось, мы уже не сможем просто работать. Я не смогу. Теперь или так, или мы прощаемся, Георгий Витальевич, — говорит она.



КРОМЕ ЛИЧНОГО

Мне нужно подумать. Мне нужно решить. Дует ветер.

Я чувствую злобу. «Неужели вы представляли меня человеком, который может купиться на такой спектакль, и более того — только на такой и может?»

Нет. Как только она начинает свой шантаж, я больше не доверяю ей. И думаю только одно: как спасти мое писательство, как закончить планы. Как издать, в конце концов, книгу. Как отыграться за чертов «Дебют» перед миром, перед собой? Она это будет, не она это будет — средство не имеет значения. Я хочу быть писателем, все остальное неважно.

Бесконечно прекрасный мир — мир издателей, критиков, премий! Что нужно сделать, чтобы быть в нем, зацепиться

за него? Только лишь оставить женщину, с которой и без того отношения кончены. Ну да, найти квартиру, ну и деньги на квартиру. Уехать.

— Я ведь не могу жить у вас? — спросил я ее однажды.

— Нет, не можете.

Что ж, все решаемо — новая яма кредита, новые пять лет долга. Доширак на завтрак, ужин и обед. Вот, собственно, и все. Но чем я смогу ее угостить, что подарить, чем порадовать? Надолго ли ее хватит?

Ну, а если бы деньги были, прямо сейчас посыпались с неба? Была бы квартира, постель, письменный стол, возможность делать все, что хочешь, *встречаться* с кем хочешь и не *встречаться*, если не хочешь, в общем, одним словом — *жить*. Как бы я поступил тогда, что бы сделал? Ушел?

Не знаю.

Зато я знаю, что такое одиночество — как это больно, страшно. И тоже, тоже этого боюсь. Одиночество — самое страшное, это знание впитано всей моей жизнью. Обречь на одиночество — самый тяжкий грех, за который нужно расстреливать, а затем, уже в аду, вечно печь на раскаленной сковородке.

Но у меня есть писательство — пусть оно будет отчаянным, бессмысленным, тяжелым, муторным, отвергающим и презирающим само себя, но оно будет — как забвение на какое-то время, если заставишь себя, если войдешь в его холодную, безжизненную реку. Оно *будет* еще какое-то время, до того самого дня, когда мне исполнится тридцать шесть.

Женщина с серыми глазами и каштановыми волосами, она замечательна, она всем хороша. Она умная и красивая, она уважаемая, она профессор, в конце концов, у нее нет проблем ни с чем. Кроме личного. Ее мир — это мир знаний, мир слов, прекраснейший мир, о котором я так когда-то мечтал. Что она потеряет, если не будет меня? Ничего. Это

мне за нее нужно держаться. Как за последнюю надежду, за соломинку, спасение.

Она переживет. Не простит мне, но переживет. И прекрасно справится.

А что Юнна? Как мне оставить ее? Как она будет жить? Она не знает себе места, не понимает, *зачем* она. Только дети, только семья — то, чего я не дал ей. Она хотела ребенка, а я хотел читать книжки, писать книжки, обсуждать книжки. Или только думал, что хотел. Но разве не сделать ее счастливой было моей задачей? Разве не так я думал, когда знакомился с ней, когда обещал? Когда еще не слышал ни о каких «Дебютах». Время прошло, и теперь даже эго не гарантировало результата: помочь могло только чудо. Когда я согласился на него, кажется, было поздно.

— Почему же вы не объяснили? — спрашивал я тихо. — Почему не настояли раньше? Почему не сказали, что будет так? Ведь я не понимал тогда. Был только в своих мыслях, думал, что все впереди! Что мы все успеем. Так мало лет прошло, а так все изменилось! Как можно было упустить все это, как можно было не понимать тогда? Я не знаю.

— Если бы ты дал то, что мне нужно, и у тебя бы все получилось, — говорила она. — У меня был бы смысл, у тебя успех. Жизнь, так она устроена.

Только потом я пойму, что, возможно, отдал бы многое, но изменил бы ту глупость, ошибку, что останется на всю жизнь. А сейчас нет, не понимаю. Конечно, это не литература виновата. Я сам виноват, но будет ли от этого легче? Разве что потешить свою правильность: я как бы мужик, я умею признать, что неправ. Но разве нельзя быть мужчиной иначе, без этого? Раз в год я встречаюсь со школьным другом, и с каждой встречей его дочь становится старше. Всего через семь встреч ее записали в школу. У школьного друга нет ни вины, ни ее признания, ни проигранной премии, ни одержимости отыграться.

У него есть жена, и они никогда не ведут таких разговоров, какие ведем мы.

— Что я вам сделал плохого?

Слышу собственный голос. Он так далеко, все дальше и дальше от того, где теперь я, кто я. И еще дальше, еще тише — ее отчаянный голос.

— А что ты мне сделал хорошего?

Что может быть после этих слов? Разве будет другое время, когда можно начать новую жизнь без этой вины, без этих вопросов, без будущего, которое не построить, без прошлого, которое не изменить?

Но обнимая женщину с серыми глазами и каштановыми волосами, а то и просто идя по улице, оставшись в одиночестве, не сумев войти *в другую жизнь*, я буду всегда вспоминать свою Юнку, протягивающую ко мне руки: обними! Ее улыбку, счастливые глаза, доброе ее лицо.

— Мне нужно, чтобы меня любили, — объясняет она. И кружит время.

Кого я люблю, что? Что именно держит меня с Юнной? Не жалость, не вина, не вера в то, что все наладится. Ее улыбка в лифте, когда мы идем гулять. Поцелуй в щеку, легкий укус за нос. Снежок, летящий мне вдогонку в зимнем парке.

Мое прекраснодушие.



ВЫ ПОНИМАЕТЕ, ЧТО МОЖЕТЕ ПОГУБИТЬ
СВОЮ ЖИЗНЬ?

Что я говорил Юнне, зазывая ее в Москву? Ничего этого нет. И ничего этого точно уже не будет. Я мог бы сказать о себе: мол, поступился своими мечтами, отдал жизнь ради счастья другого. Но это, разумеется, не так. Меня на такое не хватит. Да, я хотел бы что-то исправить, но... Да и счастье ли это?

Искалеченная моя жизнь. Ее — такая же. Наша совместная, искромсанная, проеденная ржавчиной этой глупой писательской мечты. Несчастье, одно несчастье впереди.

Я из простой семьи, в жюри всех премий это знали. Моему отцу однажды предлагали повышение. Он работал на суде, и ему предлагали пройти курсы, повысить квалификацию, чтобы занять какую-то высокую должность. Курсы были дефицитными, и многие на них рвались. Условие было одно: нужно было кого-то подставить, обойти, подвинуть. Кого-то, кого он толком не знал. А может, так не нужно было делать, а ему просто казалось, что нужно. В итоге проработал моряком до пенсии, а теперь трудится экспедитором. Мне нечем помочь ему, я нищий, среди писателей так: деньги к деньгам, нищему нищета. Но он мог помочь сам себе когда-то. Он этого не сделал.

Теперь и я могу помочь себе. Пока еще могу, пока я не сказал ничего женщине с серыми глазами. Пока еще есть время.

Моя мать всегда была бедной. В нашей семье бедность считалась достоинством. Я не разделял этого, мне это не нравилось. Но что с того, что не разделял? Дело не в этом: и ей предлагали многое. Условие было такое: оставить отца. Почему не стала? Ведь они живут в аду теперь, они друг друга ненавидят. У нас так, в России: ненависть не отменяет любви. Ненависть — это любовь плюс время.

Был выбор и у деда. Он трудился на киностудии кем-то вроде третьего помощника оператора. Он мог сделать прорыв, а вместо этого решил: и так все хорошо — фамилия в титрах, возможность куда-то там ездить. Но выбор был.

Каждому из них предлагался единственный выбор за жизнь. Отказавшись, они больше не имели шансов. Они всегда выбирали не то и всегда жалели. Дальше жизнь только была, вколачивала их как гвоздь. Медленно, монотонно, верно.

Я никогда не кичился происхождением. Таковы обстоятельства, от них никуда не деться. Не в том дело, что стану

гордиться, отказавшись от шанса, потому что в нашей семье все поступали так. Повода для гордости здесь нет. Но я хочу сам узнать себе цену. Я еще верю, пусть и совсем немного, у меня впереди еще есть сезоны. Только так я пойму свою ценность и ценность выбранного дела для себя. Добиваться успеха, признания своими силами и с помощью сотрудничества с профессионалом — да. А вот за счет особых отношений — не уверен.

Ведь это они, отношения, будут изданы. Это о них будут писать критики. Это им пожмут руку известнейшие писатели. Им вручат премию, или хотя бы включат в списки. Это будут их цена и их победа, не мои.

И теперь, не в пример проклятому «Дебюту», где мою судьбу решали замечательные люди, мне нужно решать самому. Мне, маленькому, недостойному. Пришел и мой черед, вот он.

— Вы ведь понимаете, что можете погубить свою жизнь? — спрашивает меня женщина с серыми глазами и каштановыми волосами, и я киваю и улыбаюсь. Кажется, уже готов губить. Но я молчу.

Как я скажу ей нет?! Ведь я скажу нет не ей — а редакторам, критикам, оргкомитетам премий. «Нам такое не подходит, пошлость, бред!» — роятся в голове всегда готовые ответы.

«Господи! И с ней-то меня с трудом примут, вряд ли полюбят и точно не поймут, а без нее шансов нет и вовсе. Нужно очнуться, о чем я думаю! Нужно немедленно соглашаться! Какими бы особыми ни были отношения, какой бы она ни была, каким бы ни был ты сам — это единственный шанс!»

Без нее меня нет в писательском мире, самом жестоком из всех невоенных миров.

Ну зачем я говорил ей комплименты! Просто бы работали спокойно.

Нравилась. Говорил их потому, что нравилась.
Вот только что ей сказать теперь?

SINE LINEA. ПОСЛЕДНИЙ РАЗГОВОР
С МОСКВОЙ

Недавно был День писателя. Юнна подарила ручку с надписью по-латыни, которая примерно переводится: «Ни дня без строчки». Ни дня без строчки — это, вообще-то, проклятье. Но я и так им проклят.

Женщина с серыми глазами и каштановыми волосами сказала бы: какая пошлость. *Не пошлость* — это не поздравлять вообще. И даже не ответить на мое короткое поздравление. Ведь она, пусть и не писатель — тоже из писательского мира. Она ему служит. Но ей наплевать.

— И нормальным писателям на этот день плевать.

Так она скажет. В ее картине мира это норма. Ну а что до моей жизни, то в ней слишком мало радости. И через столько времени после катастрофы на «Дебюте» боль не стихла, только обжилась, освоилась во мне. После такой катастрофы и День писателя праздник.

Сентиментальность для меня всегда была признаком любви. Неотъемлемым качеством, хранителем, символом.

— Ничего страшного, — вспоминаю ее слова. — Ничего страшного.

«Нет. Моя свобода начинается не здесь, не встречей с вами».

Она так терпелива ко мне, так снисходительна: я и молчу, и мнусь, и вытягиваю из себя что-то несвязное. Все потому, что просто не знаю, какие слова ей сказать. Не знаю. Мне кажется, если признаюсь в том, что я маньяк и насилую по ночам несчастных девушек, она тоже скажет: все нормально, ничего страшного. Лишь иногда, в редчайшие моменты она вспыхивает, и становится понятно, как не хочется ей терпеть, как выводит ее все, что происходит.

— Мы с вами обсуждаем проблему, которой для многих просто не существует, — нервно говорит она. И в этом слышится

обычное, простое: решайся уже, выбирай. Но я не решаюсь, не выбираю.

Она пишет книги, исследования, отзывы, эссе. С ней интересно. У нее много приятелей, знакомых. Я же совсем один. Мне не с кем говорить о том, что меня мучает, волнует, что мне просто интересно наконец. Если я ее выберу, это будет.

Однажды я увидел ее ноги. Я был с ней в минуты отдыха. Пил чай, ел пирожные и бросил случайный взгляд. Хотя такой ли он случайный? Ведь изучал ее, рассматривал, исследовал, сопоставлял. Ее небольшие ступни с короткими пальцами и выделяющимися косточками, казалось, смешно смотрели в разные стороны, будто обиделись друг на дружку, не хотели дружить. Мне показалось это забавным, но и некрасивым тоже. «Как у лягушки», — родилась дурная мысль, прилипла к памяти грязной, гнилой жвачкой. И когда она стояла, рылась в сумке и что-то увлеченно говорила, я вдруг обратил внимание на нос. Помню, как глупо и стыдно было от собственных мыслей, но я не мог ничего поделать, не мог перебороть себя. Из носа торчали волосы. Совсем немного, но из обеих ноздрей. Торчали, смешно завиваясь, а я думал: нет, неужели так сложно всего лишь постричь нос?

Задачи искусства, судьба писателя, место творца в истории, вот что имеет смысл, в чем я был свято убежден всегда. И тут такое! Ну надо же, думаю горестно: лягушка, волосатая носопырка — когда речь идет о твоей жизни, обо всей дальнейшей судьбе!

Она ведь легко от меня избавится. «А если вам не понравится трахаться? Ведь мы еще не трахались. Мы можем не совпасть. Вам просто не понравится наш секс. Откуда я с такими носопырками, лягушками могу знать, каким он получится? А это станет понятно быстро, за каких-то несколько дней. И все, наши дороги разойдутся. Ведь это уйдет все: романы, повести, это искусство, вся эта дешевая игра. Восторженность литературой

обманчива, ее вообще нет, по большому счету. Есть только личное. Ведь поставить условие — это не любовь к искусству, это не любовь ко мне. Это в принципе не любовь».

И что мне делать потом? Но такое не спросишь. Не скажешь.

Она говорит, что у нее есть деньги, какие-то сбережения: зачем? Что мне с них? У меня нет денег, вот что главное. Жить за счет этой женщины, за счет ее серых глаз и каштановых волос? Свободнее от этого не стану. Наши отношения не смогут быть равны. Мы не начнем их равными; свои интересы у каждого, свои стартовые позиции. Свои возможности наконец.

Что научило меня так думать? Не знаю, наверное, жизнь. Всегда была боль, всегда все рушилось. И так до знакомства с Юнной, до первого года с ней. Значит, я благодарен Юнне — единственному человеку, с кем смог быть счастливым. Но благодарность ведь не любовь. Не счастье.

Вот и теперь все рушится; все, чем я раньше жил. Я предал сам себя, все идеалы, все, во что верил когда-то. Еще не приняв решения, понимаю, что проиграл. Как далеко я буду готов зайти? Чтобы труп двигался, труп печатался, труп произносил со сцены речи, труп получал награды. А зачем этот труп *ей* — женщине с серыми глазами и каштановыми волосами? Встречаться с трупом, любить труп? Ведь очень скоро она поймет, что я собой представляю. *Вот оно че:* труп.

— Внутри меня пустота, — говорю я на полном серьезе.

— Нет, внутри загадка, — говорит женщина с серыми глазами и каштановыми волосами.

— Нет, внутри загадка, — говорит Юнна.

— Нет, это пустота. Ну, может, несколько капустных листов, а внутри ничего, нет даже кочерыжки.

Тогда зачем это все вообще нужно? Решать что-то, думать. Нет ли смысла остаться просто *живым*? Но быть живым больно. А иногда сделаешь все, только бы не было больно.

Сегодня на улице слякоть, лужи и грязь по колено, и выпал весенний острый, безжалостный снег. Кружит ветер, бросая в лицо холодные иглы и комья грязи, машины стремятся обдать меня с ног до головы. Над городом серая пленка, как поволока на глазу. Чтобы не видеть Бога.

Сегодня я скажу решение, так больше не может быть. Так больше не будет. Мне предстоит открыть рот и произнести слова. Вот только какие?

Может быть, бросить в воздух монетку? Я думал и об этом. Думал даже бросить при ней. Сказать, не могу решить, пусть все решит монетка! Как выпадет, так пусть и будет. Но решил, что это жестоко, что она не поймет перформанса, не оценит всей глубины замысла, так сказать.

Она — это кто: Юнна? женщина с серыми глазами и каштановыми волосами? Кого-то из них, как и монетку, мне предстоит *бросить*.

И кажется, пора бросать Москву. Я приоткрываю рот, собираясь шепнуть слово, но в тот же миг понимаю: сказать нечего. Мы с нею обо всем поговорили. На самом деле я давно уже не здесь.

Ветер. Ветер и снег, и небо.

А может быть, бросить писательство? Литературу, если то, чем я все это время занимался, можно было так назвать. Это занятие, которое мне причиняет боль, изничтожает, сжигает изнутри своим медленным, но негасимым горением, своим коварным синим огоньком. В конце концов, можно играть в телевизионные лотереи; там тоже есть победители, и каждую неделю объявляются новые списки, не какую-то пару раз в год. А для участия — смешно! — ничего не требуется писать, всего лишь заплатить сотню рублей. И жизнь длинная, быть может, повезет. Да, это не принесет признания, но, может быть, принесет деньги.

«И правда, — думаю, остановившись среди безлюдной аллеи, — было бы здорово бросить. Это знает Колбасинский,

знает Сладникова: вам, Георгий Стократов, необходимо бросать. Бросай, шепчет мне в одно ухо Медковский, а в другое Догоренко: ну, чего же ты ждешь, бросай!»

Нет, ничего они не шепчут. Просто ветер свистит, гуляет. Ветер и снег.

Я купил эту монетку на вокзале. Она сувенирная: с одной стороны надпись «Да», с обратной «Нет». Сейчас она взлетит, сверкнет в воздухе, словно выпрыгнувшая из воды серебристая рыба, и упадет на черную землю.

Здесь, у заснеженных скамеек, узкая и длинная проталина: видно, под нею пролегает теплотрасса. Говорят, иногда прорывает трубу, прямо из земли вырывается мощный фонтан кипятка и человека за секунды сваривает заживо. Со всеми мыслями, мечтами и проблемами, достижениями и воспоминаниями, скопленными за жизнь, — он сваривается, точно какой-то рак. Сам никогда такого не видел, но читал. Да и рассказывали.

Я бросаю.

99%

Не встретив благодатного огня
И не узнав весны своей бесценной,
Он душу будет жечь и, не найдя
Дорогу к свету, гаснуть постепенно.
Не подсчитать, не взвесить тех утрат,
Мир не услышит песни лебединой.
И кто-то в этом будет виноват —
Всею на свете есть свои причины.

В. Гамолин, «Талант»

ОГЛАВЛЕНИЕ

От издателя. Старинный герой в новой ярости	3
Светлая сторона	6
Сумеречная сторона	40
Темная сторона	62
Бесцветная сторона	121
Приложение № 1. Внутренняя соцсеть. Записи из временной петли	146
Приложение № 2. Протокол литературной конференции, посвященной повести Г. Стократова «Дебют»	156
Приложение № 3. Заявление на официальном сайте georgistokratov.ru	164
Обратная сторона	165

Литературно-художественное произведение

Георгий **Панкратов**

Дебют: Как НЕ стать писателем

Руководитель издательского проекта *Роман Косыгин*

Литературный редактор *Евгения Долгинова*

Дизайн *Александр Петриков*

Верстка *Елена Фомина*

Корректор *Римма Болдинова*

Подписано в печать 15.11.2022.

Формат 64 x 90^{1/16}. Гарнитура Charter.

Тираж 500 экз.

Заказ №

АСПИ

121069, г. Москва, ул. Поварская, д. 52/55, стр. 1

Отпечатано в АО «Т8 Издательские технологии»

109316, Россия, Москва, Волгоградский проспект, д. 42, корп. 5

t8print.ru

16+